

С.Н.Сергеев-Ценский

Севастопольская страда

часть IV

Глава первая. Первый отряд сестер

Глава вторая. Судьба Севастополя

Глава третья. Дома скорби

Глава четвертая. Молодежь

Глава пятая. Две вылазки

Глава шестая. Главкомандующими недовольны

Глава седьмая. Николай нервничает

Глава восьмая. Шумный тыл

Глава девятая. Прыжок в тишину

Глава первая. Первый отряд сестер

I

Петербургский вокзал в это утро 6 ноября был необыкновенно оживлен: столица отправляла в Севастополь первый отряд сестер Крестовоздвиженской общины, основанной на средства вдовы царского брата Михаила — Елены Павловны.

Официально отряд этот назывался как будто несколько мягче «первым отделением», однако «отделение» на военном языке — полувзвод солдат, в котором во время войны должно быть в строю тридцать два человека.

В первом отряде сестер и было тридцать две женщины, одетых в одинаковую, строго установленную форму: даже в такой мелочи эпоха Николая I осталась верна себе.

На всех сестрах были коричневые платья с белыми накрахмаленными обшлагами; ярко-белые и тоже накрахмаленные чепчики на простых гладких прическах; белые фартуки с карманами и — самое главное и самое заметное — наперсные золотые продолговатые кресты на широких голубых лентах.

В этой глубоко обдуманной в Михайловском дворце униформе была и торжественность и отрешенность от светской жизни, которую вело до того большинство сестер, и даже, пожалуй, обреченность. Впечатление отрешенности подчеркивалось еще и тем, что одна из сестер была монахиня — мать Серафима, — единственная не заменившая белым чепчиком свой черный клобук, а сопровождал всех сестер афонский иеромонах Вениамин, которому сестры «поручены были для духовного назидания», как сказал он сам накануне после молебна в церкви Михайловского дворца.

Этот молебен, половину которого простояли они растроганно на коленях, был обставлен особо торжественно, точно прием в масонскую ложу.

Кроме самой Елены Павловны, на нем присутствовали и некоторые другие члены обширной царской семьи и несколько старых генералов, обязанностью которых только и было присутствие в разных «присутствиях».

Необычайность минуты, в которую впервые за всю историю русского государства отправлялись на театр войны женщины для помощи раненым, потребовала значительных усилий мозга для лиц, ведавших придворными церемониями.

Сестры явились на молебен уже одетыми в свою униформу, но золотые кресты на голубых лентах еще лежали чинно на аналое рядом с толстым евангелием в богатом переплете.

Перед этим аналоем сестер приводили к присяге на год службы в госпиталях действующей армии; только на один год, но все понимали, конечно, что этот год может быть для многих из них наитруднейшим, а для иных и последним годом жизни.

Священник дворцовой церкви, опытный мастер своего дела, весь — благообразие и благочиние, прекрасноголосый и внушительный, очень внятно, с расстановкой прочитал слова устава для сестер милосердия, а затем всем им показавшиеся почему-то вдруг страшно значительными слова присяги, которые они повторяли кто вслух, кто шепотом, но с одинаково встревоженно бившимися сердцами и с испариной на висках: эти слова падали на них, как ядра в октябрьскую канонаду там, в Севастополе.

Но вот священник окончил чтение присяги и, сделав рукою широкий приглашающий жест, сказал приветливо:

— Прошу подходить поочередно!

И первая подошла к аналою начальница отряда сестер, вдова капитана Стахович, женщина уже пожилая, но мощного сложения, властного вида, рассчитанных движений.

Поняв выразительный наклон густых бровей священника, она сосредоточенно опустилась на колени. Неторопливо действуя, священник надел на ее шею крест и помог ей, несколько излишне грузной, подняться.

За нею точно так же получили свои кресты остальные. Тонко обдуманный ритуал был совершен, Елена Павловна милостиво поздравила сестер и пригласила их в столовую на кофе.

Она старалась быть великокняжески важной, но была по-женски оживлена и говорлива. Она добилась, чего хотела: стала как бы тою самой благодетельной феей, о которой столько наслышалась в детстве в своих родных немецких сказках. Ее Михайловский дворец сделался центром, к которому стекались отовсюду средства помощи раненым воинам и из которого направлялись они туда, на фронт, и во все тыловые лазареты.

Ее докучный досуг был теперь переполненно занят, ее вдовья межеумочная жизнь сразу получила и большой смысл, и вес, и блеск, и значение.

Театральный зал ее дворца был завален теперь аккуратно заделанными тюками с бинтами, компрессами и корпией, которая считалась важнейшим средством для заживления ран, почему ее и щипали из разной ветоши по вечерам женщины чуть не во всех домах России. Льстило честолюбие многих и то, что пожертвования в пользу больных, и раненых, как бы ни были они малы, неукоснительно публиковались в официальных отделах столичных газет и журналов.

Штаты дворца Елены Павловны сначала увеличились вдвое, потом втрое, но грозили разбухнуть еще пышнее, потому что оказалось много дела, а еще больше искусственно создаваемой суеты и бестолковщины.

Много подобной же бестолковщины было в этот день — 6 ноября — и

на вокзале, где только один коммерции советник Харичков, рыжий мужчина в новом лоснящемся цилиндре, с коротко подстриженной бородой и непозволительно толстой бычьей шеей, испросивший позволения на свой счет взять целый вагон первого класса до Москвы и посадить в него отряд сестер, определенно знал, что именно ему надобно делать, но томился в долгом ожидании посадки.

На вокзале собрались и разные сановные лица, кормившиеся около комитетов по делам раненых и больных воинов, и скучающие от безделья ветераны армии и флота, и многочисленные близкие и дальние родственники, и хорошие знакомые отъезжающих, и, наконец, появился неразлучный со своей супругой Авдотьей Павловной необыкновенно маститый, помнивший еще Екатерину, поэт Федор Николаевич Глинка.

И вот он, врастающий уже в землю, маленький, как восьмилетний ребенок, пискливо, но с пафосом проскандировал здесь свои стихи, сочиненные ради такого исключительного события; Авдотья же Павловна, тоже уже глубокая старушка и тоже поэтесса, не решилась читать свой стихотворный труд сама, но преподнесла его торжественно начальнице сестер, причем расцеловала ее и расплакалась.

Иные сановные люди проникались мыслью, что надо бы произнести приличные случаю напутственные речи, и даже пытались говорить, но у них от непривычки ли, или вследствие большой новизны темы как-то совсем ничего не выходило, и они сконфуженно умолкали.

А один старый отставной генерал, вытаращив глаза от испуга, шептал на ухо другому такому же генералу, что отнюдь нельзя было решаться на такую жестокую меру, как отправка сравнительно молодых еще и вполне приличных женщин на позорище военных действий, где никогда не бывает ведь, да и никак не может быть чистоты нравов.

Слушатель его сочувственно кивал головой, тоже выпучивал глаза и повторял однообразно:

— Совершенно верно изволили заметить! Очень справедливо... Они погибли там, как... как шведы под Полтавой, да! Это и мое мнение тоже... как... как мотыльки, знаете, на огне, вот! Их, бедняжек, там...

И он оживленно прикладывался сам к уху своего собеседника, и потом

оба они безмолвно и согласно вздыхали, одинаково выпячивали губы и смотрели на самых привлекательных из сестер с видом крайнего сожаления.

Близкие родственники отъезжающих, которые все еще никак не могли примириться с их «ужасным» решением ехать непременно в этот «миленький уголок ада» — Севастополь, изощрялись в последних доводах за то, что все еще можно изменить, несмотря на то, что они дали там какую-то клятву прослужить годовой срок, что можно упросить того-то, чтобы он походатайствовал перед тем-то, и клятва с их окаянных неразумных голов может быть снята, и они возвратятся снова в лоно своих семей.

Однако сестры держались непреклонно, хотя глаза некоторых и заволакивались непрошеными слезами.

Для того чтобы облегчить им путешествие до Крыма, к ним был приставлен особый чиновник. Кроме того, сопровождали их четыре врача, назначенные в помощь профессору Военно-медицинской академии, знаменитому хирургу Пирогову, уехавшему в Севастополь несколькими днями раньше.

В распоряжение Пирогова же должны были по приезде поступить и сестры. Это их и подымало в собственных глазах и приводило в смущение, так как строгость его была им известна, но каждая из них всего одни сутки дежурила в петербургском госпитале, чтобы присмотреться к больничной обстановке и к тому, как бинтуют раны. На операциях же почти никто не был, и сестры побаивались за свои нервы, которые могли ведь и не вынести работы около раненых, несмотря ни на какие присяги и клятвы.

Впрочем, не все из них были дочери или вдовы крупных, средних и мелких чиновников: было и несколько мещанок, старавшихся держаться поближе одна к другой.

Холодная мозглая погода заставила их всех надеть теплые, серого сукна, с капюшонами шубки одинакового покроя, а на головы некое подобие башлыков из белой байки. Кресты же, как неотъемлемый знак их звания, были повешены поверх шубок.

Наряду с проводами сестер злобою дня тогда был бешеный волк, забежавший в столицу и успевший искушать на улицах тридцать

восемь человек, прежде чем его убили.

Об этом исключительном случае было напечатано в отделе происшествий в газете «Северная пчела», и все это читали. К тому же на вокзале среди провожавших сестер нашлось лицо, видевшее своими глазами как раз того волка. Очень могло быть, что лицо это не столько видело бешеного волка, сколько отличалось живою фантазией, способной экспромтом придумать множество красочных подробностей, но оно очень правдоподобно изображало, как волк этот накидывался на людей и грыз их и как его убивали саблями будочники и проходившие офицеры.

Рясофорная мать Серафима явно упала духом, признав этот случай очень плохим предзнаменованием для сестер, но бормотала, стараясь сама себя успокоить:

— На все воля божия... На все воля божия...

И усердно крестилась на большой образ в серебряной ризе, висевший в углу зала и огражденный прочной фигурной железной решеткой.

Швейцар вокзала, сановитый басистый старик, изобильно украшенный галунами, провозгласил, наконец, зычно, потрясая колокольчиком:

— Пас-сажир-рскому поезду на Москву пер-р-рвый звонок!

Зазвонили в колокол и на перроне, и загрохотал, подходя к вокзалу, поезд.

Суэта и бестолковщина мгновенно дошли до высшего градуса. Все заметались теперь уже как будто даже испуганно, и только один коммерции советник Харичков совершенно расцвел: он становился, наконец, на видное место, он выдвинулся решительно вперед и, приподнимая цилиндр, почтительно, однако с достоинством, приглашал сестер занять места в вагоне.

Втайне он надеялся на то, что со временем, может быть даже и через несколько дней, ему будет объявлена «благодарность ее высочества».

Вместе с сестрами отправлялся в Крым и довольно большой груз: бинты, корпия, сахар, чай, сухая малина, черника, свежая клюква для кислого питья, лекарства... Поэтому сестры в поднявшейся суматохе спешили занять и поудобнее места в вагоне, и наблюдать за погрузкой тюков в багажное отделение, и прощаться с родными и близкими знакомыми, и с великолепно тренированными сановниками, и с

убитыми горем древними генералами, и с трогательной парочкой весьма маститых Глинок, и, наконец, с Петербургом, и со всей в нем налаженной, привычной, спокойной жизнью...

Начиналась дорога в неизвестное, в пучину невероятных лишений, в неусыпный тяжелый труд, в подвиг и, кто знает, может быть, даже в раскрытые уже там, в этом страшном Севастополе, для них объятия смерти...

Когда тронулся поезд, в окнах вагона первого класса в ответ на прощальные последние приветствия провожавших замелькали платки, значительно влажные от слез, и глаза сестер, едущих на подвиг, были красны.

II

Первая партия сестер почти целиком состояла или из бездетных вдов, или из засидевшихся и весьма перезрелых девиц, которым не выпало на долю свить свое собственное гнездо. Но для того времени это был не только первый отряд сестер милосердия, но и первый призыв русских женщин, выступивших на общественную работу, и в той именно области труда, которая искони веков считалась исключительно мужскою.

По мысли Пирогова, сестры должны были не только помогать врачам при операциях, не только ведать раздачей лекарств, питья и пищи больным и раненым, не только выслушивать последнюю волю умирающих и обещать твердо ее выполнить, — нет, они должны были и стать хозяйками в госпиталях, чтобы зорко следить за прославленными ворами — зрителями этих весьма мрачных заведений. У сестер, а не у госпитального начальства, должны были храниться и личные деньги раненых и больных солдат, чтобы из этих денег покупать, по их желанию, то, на что не отпущено средств казною, а в случае смерти больного отсылать деньги его родным, которых он укажет.

В замкнутый круг жизни, обусловленной сложными правилами жестокой военной дисциплины, эти женщины, совсем незнакомые с подобной дисциплиной, должны были внести простую, безыскусственную человечность, свойственную мягкой женской

натуре, но в то же время и всю энергию к достижению намеченной цели, которою отличаются женщины.

Сестры милосердия в те времена были и в Англии и во Франции, но только в лазаретах и больницах внутри страны. Англичане, правда, довели нескольких сестер до Константинополя, но оставили их там для обслуживания лазаретов в Скутари. Так что России благодаря Пирогову принадлежит почин в деле отправки сестер непосредственно на театр военных действий. Англичанам пришлось в этом уже подражать России, и первая партия их сестер под начальством мисс Найтингель появилась под Севастополем только весной пятьдесят пятого года.

Хорошо думается под однообразный стук колес поезда, если человек едет один. Он смотрит в окно, где поминутно меняются пейзажи, и эта быстрая смена картин не приковывает его внимания. Он всем своим телом ощущает, что движется именно туда, куда ему необходимо прибыть, и уверен в том, что прибудет по расписанию, а пока он совершенно свободен и мысль его легка, ясна, прозрачна и строит точные выводы из предпосылок и посылок, если только эти последние не запутаны до чрезвычайности.

Но женщины в униформе, мчавшиеся из столицы, холодной и с размеренным строем жизни, на крайний юг, прежде всего избавлены были от одиночества по крайней мере на целый год, по присяге.

Они редко взглядывали и на окна, сквозь которые мелькали притуманенные наплывающими сумерками безлистые березовые рощицы, или зеленые стены сосен, или желтая осока на болотах, или сжатые чахлые поля, или серые домишки с высокими тесовыми крышами...

Это все оставлялось ими без сожаления, отставало от них, отбрасывалось в сторону, мешало им... Их головы были слишком горячи для каких-то там задумчивых созерцаний. Они теснились друг к дружке на мягких диванах купе, покрытых полосатыми чехлами, изучающими цепкими глазами присматривались одна к другой и говорили.

В первом купе, где поместились вместе с начальницей отряда и монахиней Серафимой только две сестры: Елизавета Лоде и Марья

Гардинская, — обе дочери крупных чиновников, — разговор часто перескакивал с русского на французский язык, так как и Серафима до своего пострига была светской женщиной.

У этой четверки — головки отряда — еще не улеглись впечатления от Михайловского дворца и его хозяйки, так очаровавшей их своим вниманием.

Гардинская, у которой так велика была привычка к браслетам, что она, скинув их, немедленно обвила правую руку четками, сочла возможным здесь, в дороге, рассказать о том, о чем считала бы неудобным говорить в Петербурге.

— Когда я дежурила в госпитале, приехала вдруг Елена Павловна и как раз попала на серьезную операцию: ампутацию ноги. Я, признаться, боялась идти в операционную комнату, — шутка ли, скажите, так вот сразу и на такую ужасную картину! Но наша Елена Павловна мне: «Идемте, говорит, идемте вместе: надо же нам когда-нибудь начать привыкать к этому!» Я ей, разумеется, отвечаю: «С вами, ваше высочество, я, конечно, готова идти куда угодно...» И вот началась операция, и она стремится помогать врачам... Но когда стал доктор пилить ногу, точно это сучок какой-нибудь сухой, — ах, это был такой ужас, что я отвернулась к окну и стою... и ничего уж не вижу, только сердце у меня страшно бьется... А Елена Павловна никуда не отходила и даже подавала сама, что надо...

— Она — замечательная женщина! Исключительная! — восторженно поддерживала Гардинскую маленькая Лоде.

— Разумеется, она — замечательная, но вот, когда уж все кончилось, тут... Я уж не знаю даже, говорить ли мне дальше? — нерешительно поглядела Гардинская на Стахович, нервно перебирая четки.

— Ну, что же могло случиться там у вас? Пустяки какие-нибудь, — покровительственно отозвалась Стахович, у которой был густой и добротный, как и фигура, голос.

— Разумеется, отчего же этого и не сказать, — тут же согласилась Гардинская. — Ну, просто Елене Павловне сделалось дурно... Только не в операционной, — там она храбро держалась, — а уж когда все было кончено, и ногу отняли, и перевязали лигатурой, и забинтовали,

и мы с нею вышли в коридор... Вот тут уж силы ее и оставили.

Сухоликая мать Серафима покачала головой, с которой не решилась снять клубок даже и в вагоне:

— Нервы, все нервы! Она ведь, бедняжка, четырех своих дочерей потеряла, а каково это матери? Я тоже двух детей в миру схоронила... от холеры... знаю, что это — тяжелое испытание.

— Это ужасно, это ужасно — потерять всех своих детей! — всплеснула ручками сорокалетняя девица Лоде, а Стахович разрешила себе сказать:

— Кажется, нервы у нашей патронессы и смолоду были некрепкие... По крайней мере я слышала от кого-то, но как вполне, вполне достоверное, как родитель ее, герцог Виртембергский, вздумал отучать ее, девочку, бояться мышей...

— Мышей?.. Я уж не девочка, а я их тоже боюсь! — живо созналась Лоде.

— Кто же их и не боится, противных? — сделала гримасу Гардинская.

— И что же все-таки он придумал, ее отец?

— Герцог, представьте себе, приказал наловить этих тварей мышеловками десятка два, — продолжала Стахович, — и принести ему в закрытом саквояжике. Наловили, конечно, принесли. «Шарлотта! — зовет ее. — Шарлотта, иди сюда!» Та, конечно, подбегает, — резвый ребенок. «Что, папа?» — «Посмотри-ка, какой я тебе подарочек приготовил!» И раскрывает саквояж... А оттуда — мы-ши! Прыг, прыг, прыг на землю!

— А-ах! — вскрикнули и подняли руки, отшатнувшись, сестры, а Стахович закончила, довольная эффектом:

— Конечно, и она тоже, маленькая принцесса Шарлотта, ахнула так же вот и упала в обморок.

— И больше уж родитель не применял к ней такого способа? — полюбопытствовала Гардинская.

— Я ду-ма-ю, что ему за это досталось от герцогини! — решила Стахович. — А патронесса наша ведь и в детстве большая умница была, как рассказывают. С нею даже и ученый этот знаменитый французский Кювье (они тогда в Париже жили) любил говорить и все ей показывал в своем саду и называл по-латыни. Она ведь и

богословие так хорошо знает, что, говорят, самого архиепископа Иннокентия, — вы уж, мать Серафима, не обижайтесь на это, — загоняла по разным этим вопросам. О ней и сам Николай Павлович не иначе говорит, как: « C'est le savant de notre famille...»{33} Если б не ее ходатайство, профессора Пирогова ни за что бы не назначили в Севастополь. Из верных источников знаю... Ведь он с самой высадки союзников в Крыму туда рвался и хлопотать начал, однако ж ничего не выходило. А когда к Елене Павловне обратился, наконец, через баронессу Раден, в тот же день государь приказал: «Назначить!» Потому что ее высочество так прямо и заявила государю: «Этот Пирогов — самый нужный для меня человек. Только ему я могу доверить свою общину, а больше решительно никому!» И государь сразу согласился.

— А почему же все-таки Пирогова, такого известного, не хотели послать в Севастополь? — спросила Серафима, и Стахович развела крупными кистями рук:

— Так, знаете, интриги всякие... Ведь он был уже на войне, на Кавказе, и кое-кому не понравился там из начальства. Одним словом, будто бы не в свое дело мешался, — многозначительно улыбнулась она. — Сам же Николай Иванович мне рассказывал, что он считает очень важным создание общин сестер милосердия. «Это, говорит, положительно гигантские идеи! И чтобы община так и осталась даже и после окончания войны... Ведь это, говорит, полный переворот должно произвести в нашем госпитальном деле, да и во всем русском обществе это должно отозваться. А когда, говорит, после разговора об этом с великой княгиней простился уже и к вестибюлю пошел, я, верите ли, совершенно во дворце заблудился. Комнат, конечно, там достаточно, вот я и иду из одной в другую и, вместо того чтобы на лестницу выйти, представьте себе, опять подошел к аудиенц-зале. Я, конечно, говорит, постарался ускользнуть благополучно и незаметно попросил кого-то, кто мне встретился, проводить меня в лабиринте этом, вывести из безвыходного положения...»

— Остроумный он человек, этот Пирогов, — заулыбалась Лоде. — Вот уж с ним не соскучишься... Всегда он найдет сказать что-нибудь такое... Сразу видно, что на молоденькой женат.

— Это если он в обществе, а на службе он, говорят, строг как нельзя больше, — возразила Гардинская. — И я, говоря откровенно, очень боюсь быть с ним на операции. Он, говорят, может так прикрикнуть, если неловкость какую сделаешь, что хоть сквозь пол провались!

— А как же и не сделать неловкости, скажите, если мы даже не имеем еще никакой привычки к этому? — вопросительно поглядела на начальницу, как на игуменью, Серафима.

— Ну, не тревожьтесь напрасно, — ободрила ее улыбкой Стахович. — Он достаточно ведь воспитан, чтобы не кричать на дам. А нервы у него у самого почти что дамские. Он мне без всякого стыда рассказывал, что когда он с Кавказа из действующей армии приехал, — это в сорок седьмом году было, — то, конечно, к военному министру должен был с докладом явиться, а военным министром тогда князь Чернышев был. И вот, представьте себе, что что-то такое он, наш Николай Иванович, упустил из виду по части форменной одежды своей. То есть даже так вышло: он ничего и не упустил, а просто не знал, без него введена была какая-то реформа: не то петлицы приказано было поставить другого цвета, не то пуговицы как-то там иначе пришить. Одним словом, пока он был на войне на Кавказе, занимался там своими операциями и вообще, — тут ввели новшество. Он докладывает князю Чернышеву с жаром: и гипсовые повязки для переломов он там изобрел и применял с успехом большим, и анестезию ввел при операциях, ну, и, разумеется, не без того, что допустил кое-какие резкости, когда о полевых лазаретах тамошних говорил, какие там были до него порядки. А Чернышев слушал, молчал, сопел и все на его мундир косился. Простился с ним очень сухо. Но ведь что же можно было из этого вывести? Только одно можно было подумать: важничает. Ведь он и всю свою жизнь так важничал. Даже самому князю Паскевичу в прежнее время, когда он, впрочем, уже Эривань взял, больше как два пальца не подавал. А дело оказалось совсем не в том. Как только Пирогов ушел из кабинета, Чернышев приказывает адъютанту своему послать срочно бумагу на имя начальника медицинской академии: «Профессор Пирогов осмелился явиться на прием к военному министру не по форме одетым». И вот, представьте себе, вызывает к себе Пирогова

начальник академии и ну на него кричать! Николай Иванович об этом рассказывал мне прямо с дрожью в голосе. «Как на мальчишку, говорит, на меня орал... И все это из-за каких-то там петличек или пуговиц на мундире. Выскочил, говорит, я от него сам не свой, и со мною, говорит, сделался истерический припадок! В первый раз в жизни, говорит, но зато самый настоящий припадок: с хохотом, с визгом, с рыданиями... вообще, как полагается только прекрасному полу...»

— Вот уж никогда бы я не подумала! — удивилась Серафима. — Такой строгий с виду человек и уже немолодой...

— И в генеральском уж чине, — добавила Гардинская.

— А истерика, как у нас, грешных!

— Он, может быть, пошутил просто? — усомнилась в истине рассказа Лоде.

— Какое там пошутил! Посмотрели бы вы на него, когда он это рассказывал!..

Пирогов, конечно, очень интересовал сестер как их непосредственный начальник, и они отчасти даже гордились тем, что подчиняться будут там, в Крыму, только ему, а не многочисленным военным властям. Притом же Пирогов все-таки был знаменитость в той именно сфере действий, которую избрали они и для себя, а женщины всегда любили и любят быть около знаменитостей.

Но у них четырех, принадлежащих по рождению к одному кругу, нашлись по мере разговора и общие знакомые, воспоминания о которых сблизили их еще больше.

В сумерки, когда кондуктор вставил в фонарь и зажег свечу, они разложили свои постели, пеняя при этом на неудобство вагонов — верхние места, на которые так трудно взобраться и с которых так легко свалиться во сне; потом поужинали домашней снедью и, убедив друг дружку в том, что крушения поезда, бог даст, не будет, улеглись, чтобы спокойно проспать до Москвы, куда прибывали утром.

III

В последнем купе этого вагона было уже несколько теснее: там поместилось шесть сестер: четыре из них — мещанки и две — дочери

коллежских регистраторов, то есть тех канцелярских писцов, которым за долгую и усердную службу дали первый чин, чтобы в нем и оставались они до самой смерти.

Здесь мало говорили о великой княгине, потому что очень мало о ней знали, и совсем не говорили о Пирогове, которого не все и видели, а кто и видел, то мельком. Здесь бережно дотрагивались до серой, тонкого сукна занавески на окне, отороченной шелковой бахромой, и с почтительностью относились как к мягким диванам, на которых сидели, так и к усатому с пестрыми жгутами на плечах шинели оберкондуктору, явившемуся к ним проверять билеты.

Не все из этих шести были даже и грамотны как следует. На вопрос во дворце при приеме, чем они занимаются, они отвечали скромно: «По домашности». О них наводили справки через полицию, и хотя по этим справкам поведение их оказалось вполне благонаправным, все-таки включили их в число сестер только потому, что по новости дела не оказалось в такое короткое время достаточно кандидаток из дворянок. И если остальные сестры отряда отказались от содержания, так как были из обеспеченных семей, то этим шестерым отказываться было нельзя: их родные ничего не могли бы прислать им в Крым. Зато свое новое положение они иначе не называли, как «службой», а службой в те времена именовалась исключительно только военная (всякая другая была «должность»).

Так вот, сразу привыкнуть к этому слишком новому своему положению они не могли, конечно, хотя на это и шли. Они жили себе неторопливо и укладисто. Они даже и такой совсем ничтожный шаг в своей жизни, как покупка ситца на платье, приучены были нуждою обдумывать очень долго и основательно и взвешивать со всех сторон, раз пять уходить из лавки и потом возвращаться с боязнью в сердце, что облюбованный ситчик может взять кто-нибудь другой, если его малый кусок, или оптовый покупатель, если его целая штука... Нужно было и на солнце его распялить, посмотреть, не редок ли, и простирнуть дома образчик его, — не линюч ли...

А тут вдруг взяли с них клятву, точно подвенечную, в церкви, перед аналоем надели золотые дорогие кресты на добротных муаровых голубых лентах, и кончено: везут уже, не давши опомниться, если и

не совсем, как солдат, потому что в господском вагоне, но пускай даже хотя бы и как офицеров, все-таки везут ведь не куда-нибудь, а как раз туда, где теперь немилосердно воюют.

Поэтому одна у другой втайне искали они поддержки, вежливо называя друг дружку по имени и отчеству.

— Матрена Кондратьевна, одолжите на минуточку мне ваш ножичек складной, булки отрезать!

— Натя, Марья Михеевна, только же он тупой у меня, дальше некуда: хотела точильщику отнесть, да в горячке такой разве успеешь!

— Настасья Семеновна, что это вы с собой никак мужинские сапоги везете?.. Неужто выдавали такие, а я не знала?

— Да нет, Лизавета Ивановна, это у меня от брата покойного остались, все не продавала... А теперь надоумили люди — возьми да возьми в Крым: приезжие оттудова рассказывали, будто там без сапог и ходить нельзя, вроде как место такое топкое!

— Вон что люди-то говорят! А что же у начальства-то догадочки на это не было, чтобы нам сапоги-то выдать, раз место там топкое?

Фамилия Матрены Кондратьевны была — Аленева, Настасья Семеновны — Савельева, а Марьи Михеевны — Лашкова.

Аленева была ростом крупнее других, но угловатее, со скуластым и курносим, несколько чухонским лицом и грубым голосом. Савельева была проворнее и бойчее других, но по-петербургски хрупка, худощава, мало надежна для той тяжелой работы, на которую ехала. Лашкова была миловиднее других и приветливее на вид, но у нее был природный недостаток: она заикалась, хотя и не сильно, и, чтобы скрыть это, излишне растягивала слова.

А Лизавета Ивановна Гаврюшина при ходьбе заметно припадала на левую ногу, так что ребяташки на той улице, где она жила, иногда кричали ей вслед:

— Два с полтиной! Два с полтиной! Два с полтиной!

Однако это была пышащая здоровьем, белолицая, сильная на вид женщина, явно хозяйственного и притом несокрушимого склада. И если она вдруг, увидев сапоги Настасьи Семеновны, вознегодовала на начальство, то совсем не из жадности к даровщине, а потому, что начальство это показалось ей неосновательным, легкомысленным в

таком важнейшем вопросе, как обувь. Попробуй-ка, походи по болоту в башмаках! И какая же это будет работа?

Однако вопрос о сапогах завладел вниманием и обеих дочерей коллежских регистраторов. Одна из них — Балашова — была чернявая и сухопарая, с морщинками около глаз; другая — Дружинина — золотобровая, но очень смиренная на вид, затурканная тяжелой жизнью у своего родителя, вечно нетрезвого и попрекавшего куском хлеба.

— Разве же и в самом деле мы там будем по топким местам ходить? — усомнилась, глядя на Савельеву, Балашова. — Откуда же топкие места могут там взяться, когда мы же ведь при госпиталях состоять будем?.. А в госпиталях чистота должна соблюдаться, и половики чтоб везде на полах были белые...

— С грязными башмаками разве могут кого в госпиталь пустить? — кротко отозвалась ей Дружинина.

Остальные переглянулись, потому что действительно выходило мало понятно, зачем сестрам нужны сапоги.

Но Савельева, сосредоточенно подумав, обратилась к Балашовой:

— Как же это вы рассчитываете, Дарья Степановна, на войне будучи, да чтобы в чистоте пробыть? А ежели госпиталь будет где в деревне, по избам раскинутый? Мне говорили люди, что и так на войне быть тоже может... Вот и таскайся из избы в избу по несусветной грязи. В деревнях ведь тротуаров не бывает, вам известно.

Однако Балашова тут же вспомнила, что на ней, как и на всех других, чистенький, беленький передничек, накрахмаленные тугие обшлага, белый чепчик, и она ответила Савельевой упрямо:

— Нет, это уж вы мне не говорите, Настасья Семеновна, чтобы нас куда-то там в деревню готовили отвезть! В деревню не стали бы нас так и наряжать, а как-нибудь попростее... Да с нами еще ведь вон сколько настоящих барынь едет, так что же, их тоже в деревню?

Очень трудно было им шестерым, никогда не читавшим ни газет, ни книг, представить, что такое их ожидало в Крыму; но жизнь в деревне все-таки пугала их, даже, пожалуй, больше, чем жизнь в осажденном Севастополе. Все они были прирожденно городские, да и не просто городские — столичные.

Не брезгая никакой работой, если она наворачивалась, Балашова нанималась сиделкой к трудно больным, и иногда они умирали у нее на руках, так что видеть смерть около себя не было для нее новым делом. Она уже приготовилась и к тому, чтобы в Севастополе видеть эту смерть гораздо чаще, может быть даже и не один раз на дню; но все-таки смерть, а не грязь, по которой надобно лазить в каких-то охотничьих сапогах.

О грязи и другие сестры, кроме Савельевой, думали, как о чем-то там, в Севастополе, маловероятном, поэтому скоро о ней забыли, перешли к тому, что их ожидало наверное: к тому, как им удастся угодить раненым, если их будет очень много и за каждым понадобится свой уход.

— Больных даже если взять, и те привередны бывают и капризы показывают через свою болезнь: то им не так, это не по-ихнему, — рассудительно говорила Балашова, имевшая опыт в этом деле. — Чаю им подашь стакан — три ложечки полных песку сахарного в него положишь, и то ведь им несладко кажется! А к раненому как подступишься? Шутка ли сказать, рана большая! Ведь от нее боль ежеминутно его точит, отдыху не даст.

— Да ведь и не только боль — жуть всякого возьмет, когда возле тебя один мучается, а с другого бока другой; тот себе стонет, этот себе, а какие и вовсе в бреду кричат, — сказала Аленева, а Гаврюшина добавила:

— Что мы в гошпитале видели? Там если и раненые лежат, так они уж привыкшие к своим ранам, а ну как его свежего принесут на носилках! То он ходил, как и все, а то ему ногу прочь должны отнять... Ведь это же страх для него какой должен быть. Ведь с ним тогда как с маленьким обращаться надо, до того он ослабеет, бедный!

— Да уж наше дело будет только смотреться так — небольшое, а уж легким его, пожалуй, не назовешь, — протянула, запинаясь на «т» и «п», Лашкова, но Дружинина попыталась уяснить, насколько дело их будет трудным:

— Говорили же ведь так, что мы дежурить будем: отдежурит одна, другая сестра заступит. А как же иначе? Иначе ведь там в неделю с ног собьешься: тому подай, у того прими... Еще неизвестно, какое для

нас, сестер, помещение отведут: надо, чтобы отдых был какой следует, а то и без пули свалишься и не встанешь...

Так общими усилиями воображения пытались они уяснить себе свое близкое будущее, так как люди они были хотя и привычные к работе, однако желающие, чтобы была им она под силу.

Когда поезд останавливался на станциях, они кидались наперебой к окошку или выходили в коридор из купе, чтобы непременно узнать, что это за станция, долго ли будет стоять поезд на ней, что за люди живут тут, и как они одеты, и что они продают пассажирам и почему, насколько дешевле, чем можно бы достать в Петербурге.

Что касалось этого последнего, то тут занимала их каждая мелочь, так как они знали цену не крупным, а именно мелким деньгам, достававшимся им туго и дорого; и они оживленно передавали одна другой, почему тут жареная курица или утка, или поросенок, или бутылка молока, или десяток яиц, и на каждой станции которая-нибудь из них непременно соблазнялась дешевизной и покупала то или иное, благо они получили на руки подъемные деньги.

Так они копили запасы еды, пока совершенно не стемнело. На нижних местах улеглись они спать по двое в разные стороны головами и не чувствовали от этого ни малейшего неудобства.

IV

В Москву сестры прибыли утром, но едва успели издали поглядеть на золотую маковку Ивана Великого, как их усадили в заранее приготовленные тарантасы, запряженные тройками, — каждый тарантас на четверых.

Такая поспешность с отправкой из Москвы очень изумила и Стахович, и Гардинскую, и Лоде, и многих других сестер, которые думали пробывать в Москве хотя бы одни сутки, побывать у своих родственников и хороших знакомых; но чиновник Филиппов, их сопровождавший, обычно копотливый и нудный человек, был теперь решителен.

Он говорил им:

— Да вы знаете ли, что в такое время значит достать лошадей без задержки да еще на сорок с лишком человек? При такой гонке по

всему тракту от Москвы до Севастополя — и вот вас ждут готовые тройки! Ведь это только благодаря заботам московского генерал-губернатора, который, конечно, желал сделать приятное ее высочеству... Это надо ценить, mesdames, а вы вдруг недовольны! Нельзя так, mesdames!

Появился и московский обер-полицеймейстер, извинившийся галантно, что несколько запоздал к приходу поезда. Он говорил приблизительно то же, что Филиппов, не один раз употребив при этом жестокое слово «маршрут». Даже просьба головки сестер отложить отъезд хотя бы на три часа, чтобы успеть отслужить молебен у Иверской и потом получить благословение митрополита Филарета, не имела успеха. Напротив, обер-полицеймейстер просил их поспешить садиться, не задерживать лошадей, так как и лошади и тарантасы нужны для царских фельдъегерей и курьеров и для разных начальствующих лиц, направляющихся на юг.

Пришлось подчиниться и проститься с Москвой.

В тарантасы расселись так же точно, как сидели в купе вагона, — купе вагонов вообще ведь очень сближают людей, — и началась лихая скачка по разбитому ухабистому шоссе, которое протянуто было от Москвы до Курска.

Иеромонах Вениамин ехал в одном тарантасе с флегматичным чиновником Филипповым и двумя молодыми врачами. Одесский грек по происхождению, он не всегда правильно говорил по-русски, зато был необыкновенно словоохотлив. По его словам, он бывал и в Греции, и в Италии, и в Палестине и рассказывал многое об этих краях, а также и об иерусалимском и вифлеемском храмах, из-за которых будто бы и загорелся сыр-бор войны. Но вслед за этим не забывал он и сам расспрашивать спутников о том, как они находят положение и в Севастополе, и вообще в Крыму, и на юге России, и на Кавказе, и в Польше, и в Финляндии.

Но больше всего, как оказалось, занимало его общественное, а также и имущественное положение сестер, вверенных его духовному попечению и назиданию. И эти расспросы о сестрах он производил с такою чисто южною жестикуляцией и выразительной мимикой на смуглом, не старом еще лице, что, оставшись вдвоем на станции, когда

меняли лошадей, разминаясь и блаженно зевая, говорили между собой врачи:

— Какой же, однако, пронырливый человечешко этот монах! — брезгливо морщился один.

— Он отвратителен! — с чувством соглашался другой. — До того прожужжал мне уши, что хоть ватой закладывай! И мне сдается, что он затевает быть в дальнейшем не только духовным отцом кое-кого из сестер побогаче! Имел же бешеный успех архимандрит Фотий у графини Орловой...

Как ни было разбито московско-курское шоссе, как ни ныряли на нем тарантасы в глубокие ухабы, поминутно грозя вывалить вон сестер, но за Курском пошла уже такая бездонная черноземная осенняя хлябь, что оставленный путь показался сестрам недооцененным райским блаженством.

В Белгороде была уже вынужденная дневка, так как не нашлось нужного количества лошадей. Этим воспользовался Вениамин, чтобы повести сестер поклониться гробнице местного «святого» Иоасафа, а затем сделать паломничество в девичий монастырь, где и был отслужен молебен на предмет будущего благополучия в дороге.

В Харькове генерал-губернатор Кокошкин угостил сестер обедом и вообще был с ними очень любезен и приветлив, хотя и часто качал, глядя на них, весьма сожалеюще седой сановитой головой.

Сестрам же очень нравилось приводить своим обреченным видом в полное смущение старых николаевских служак, которые до того были ошеломлены этим неслыханным новшеством, что положительно не знали, как к нему отнестись.

Но на обеде были и дамы харьковского бомонда, которые наперебой расспрашивали сестер об общине и о том, что предназначено им делать там, в Севастополе, куда они едут столь самоотверженно и героически красиво.

И сестры видели, что, может быть, не одна из этих дам, прикованных глазами к их белым передникам и чепчикам и к золотым крестам на голубых лентах, последует в ближайшем будущем их примеру.

В Харькове же значительно увеличился багаж первого отряда сестер за счет тех бинтов и компрессов, которые были трудолюбиво собраны,

и той корпии, которую прилежно нащипали здесь для отправки в Крым; и торжественно прибавлены были к обозу новые телеги.

День отправки из Харькова выдался очень теплый и ясный, и несколько верст провожали сестер их новые знакомые в своих экипажах.

В Екатеринослав, на который шел в те времена почтовый тракт в Крым, приехали довольно быстро и удобно благодаря заботам Кокошкина в полдень 12 ноября. Но дальше, за Днепром, шла уже глубь Новороссии, затопленной бесконечными осенними дождями, растворившими чернозем в такую клейкую засасывающую грязь, что тройка лошадей не в состоянии уже была вытянуть из нее тяжелого тарантаса, да и лошадей было мало. Пришлось впрягать по три пары волов, и, в первый раз вверяя свою судьбу этим неторопливым животным, сестры говорили одна другой:

— А как же Пирогов тут ехал? Неужели тоже на волах, боже ты мой!.. И где-то он сейчас, наш Николай Иваныч?

Глава вторая. Судьба Севастополя

I

А Николай Иваныч Пирогов как раз в это самое время сидел в ставке главнокомандующего сухопутными и морскими силами Крыма, князя Меншикова.

Помня то, как распек его другой князь, Пирогов, одеваясь для представления Меншикову, был очень внимателен ко всякой мелочи. Действительный статский советник и кавалер, академик, автор многих ученых трудов, он, как только что произведенный в прапорщики, справлялся у своих подчиненных врачей, на месте ли у него то или другое и правильно ли навесил он свои многочисленные ордена.

И только когда никто уже не мог сделать ему никаких указаний, облегченно укутался плащом «от возможных атмосферных осадков»: погода показалась ему достаточно теплой для того, чтобы натягивать зимнюю шинель, идти же было не так и далеко от форта № 4, где его поместили по приезде на Сухую балку.

Огромные казематы форта оказались очень вместительными, и в них были переведены оба госпиталя, и сухопутный и морской, и в них же были отведены квартиры многим врачам: снаряды интервентов пока сюда не долетали, здесь было вполне безопасно.

Человек лет под пятьдесят, сангвинического темперамента, резких, живых движений, плотно сбитый, однако же пока не страдающий еще полностью, с обширным лбом и начисто лысым теменем, с ноздреватым носом и глубоко запавшими, привыкшими глядеть исподлобья, острыми серыми глазами, скуластый и ширококоротый, безусый, так как усов лекарям не полагалось, но с форменными небольшими баками рыжего цвета, — Пирогов проходил по Северной стороне, искренне любуясь Севастополем.

День был облачный, и облака медленно плыли, сизые, вязкие, очень влажные на вид, но солнце сияло ярко, и в его теплоте, хотя уже и ноябрьской, белоснежный город с красными черепичными крышами казался отсюда нисколько не пострадавшим от ужасной в октябре бомбардировки, о которой Пирогову приходилось читать и много слышать.

В этот час как раз было затишье как на русских бастионах, так и на батареях противника, и ничто не мешало ему цепко, как туристу, приглядываться через широкий Большой рейд к этим красиво расположенным массам домов, поднимающихся амфитеатром над Южной бухтой.

На рейде и в бухте было еще достаточно русских судов внушительного вида, и хотя он уже узнал, что полукруг судов вдали, в море, был сторожевым отрядом флота союзников, но это ничуть его не беспокоило, — до того был приятно удивлен он тем, что Севастополь совсем не обращен в груды развалин. Напротив, на его оценивающий взгляд, взгляд врача-хирурга, этот прекрасно сложенный организм обладал способностью успешно бороться с ранами и жить долго.

И так безошибочен показался ему самому этот прогноз, и так захотелось ему кому-нибудь тут же передать свое впечатление, что к первому встречному казаку-донцу с казенной сумкой через плечо, легко шагающему через лужи, обратился он с вопросом:

— Ну-ка, как ты думаешь, молодчага, возьмет «он» Севастополь?

Несколько озадаченный казак, став во фронт и козыряя растопыренной пятерней, ответил тем не менее весьма бойко:

— Нипочем ему не взять, ваша честь!

— Молодец, что так думаешь!

— Рад стараться, ваше...ство! — гаркнул казак, разглядев за отворотом плаща крест да шее и уголок звезды этого явно нового здесь какого-то большого начальника лекарей.

А Пирогов хотел было спросить казака, где именно помещается на этой Сухой балке, которая очень мокра, главнокомандующий, но тут же разглядел группу офицеров конных и пеших возле одного совсем невзрачного матросского домишки и понял, что спрашивать незачем: там на шесте висел и флаг, а под ним стоял часовой.

Когда после необходимого адъютантского доклада светлейшему Пирогов получил приглашение войти и, освободясь от своего плаща на маленьком крылечке, появился в совсем небольшой, низенькой и темноватенькой, но очень жарко натопленной комнатке, ему навстречу поднялся сидевший на кровати седой старик в желтом архалуке, довольно засаленном на вид, а за столом у окошка, полуутонув в мягком кресле, сидел кто-то с пером в руке за бумагами и, только чуть взглянув на открывшуюся дверь, уткнулся снова в свои бумаги.

Не сразу узнал Пирогов в этом высоком и тощем, достигавшем макушкой до бревенчатого потолка усталом старике самого Меншикова, которого он видел несколько лет назад.

Тогда светлейший в петербургском манеже на неудачно взятом барьере упал с лошади и надломил ребро, почему и был вызван к нему известный хирург Пирогов на консультацию; был он всего один раз, определил, что никакими опасностями эта авария организму князя не угрожает, что надломленное ребро срастется без особой помощи медицины при известном режиме, — и больше уж его не беспокоили.

Но этот незначительный эпизод, видимо, весьма облегчил Меншикову начало беседы с Пироговым, так как он припомнил его с первых же слов. При этом он изгибался весьма любезно и не менее любезно, но как-то неестественно хихикал.

Потом, обернувшись к столу, он сказал начальственно:

— А ну-ка, братец, уйди-ка отсюда!

И сидевший в кресле, оказавшийся простым писарем, мгновенно вскочил и поспешно вышел, а Меншиков любезно предложил гостю весьма нагретое кресло, сам же, с трудом согнувшись, опустился на свою койку походного образца, прикрытую походным ковром.

II

В четырнадцать лет — студент-медик, в девятнадцать — лекарь, в двадцать три — доктор медицины, а в двадцать шесть — профессор Дерптского университета по кафедре хирургии, Пирогов был одним из замечательнейших людей России и величайшим из русских врачей, далеко вперед двинувших медицину.

И если в те времена это еще не осознавалось всеми, кто имел возможность судить о науке и о людях науки, то угадывалось многими, кому случалось работать вместе с Пироговым. Отчасти это понимал и Меншиков, который имел заграничный диплом ветеринара и прочитал достаточно медицинских книг.

Пирогов же в Петербурге и по дороге в Крым от встречных офицеров наслушался о главнокомандующем разного.

Одни рисовали его совершенно бездеятельным и не способным командовать армией и выиграть хотя бы одно сражение; кроме того, по их же словам, он был очень не любим ни солдатами, ни матросами, ни армейскими и флотскими офицерами, потому что о войсках он нисколько не заботится, на бастионах никогда не бывает, и вообще «черт его знает о чем он думает и чем он занят».

— Но ведь все-таки, несмотря на все это, судьба Севастополя в его же руках? — допытывался недоуменно у таких Пирогов.

— В том-то и дело, — отвечали ему, — что судьба Севастополя попала в совсем неумелые и нерадивые руки! И чем скорее турнут из Севастополя этого держателя его судьбы, тем будет лучше.

— Турнуть, вы говорите? — удивлялся Пирогов. — Вон уж до чего дело доходит! И кем же, как вы думаете, можно его заменить?

— Да, вот, конечно, кем заменить, это вопрос нелегкий, — отвечали Пирогову. — Но кем бы ни заменить, а заменить надо, — иначе

Севастополь погибнет!

Другие же, наоборот, отзывались о Меншикове, как о великом стратеге, который обдумывает в тишине и тайне план полного сокрушения союзников.

— Так что, вы думаете, что судьба Севастополя вверена именно тому самому, кому надо? — без всякой иронии спрашивал этих Пирогов.

— Всенепременно! — решительно отвечали ему.

— Короче, судьба Севастополя это и есть сам Меншиков? — пытался уточнить Пирогов.

— Если хотите, это буквально так и есть, — быстро соглашались с ним. И вот теперь Пирогов с пристальным, свойственным ему как врачу вниманием смотрел несколько исподлобья на эту «судьбу Севастополя», сидевшую в желтом замасленном спереди халате на дрянненькой узенькой койке не более как в двух шагах от него и взирающую на него не менее наблюдательными глазами.

— Так вы ко мне от ее высочества... непосредственно? — тихо, но как-то скрипуче спросил после длительной паузы Меншиков.

— Именно, ваша светлость, от ее высочества получил я тоже определенные предписания и суммы для поддержания раненых, но командирован по высочайшему повелению в ваше личное распоряжение, — постарался сказать точным канцелярским языком Пирогов, — и вот мои сопроводительные бумаги.

Тут он вынул из бокового кармана пакет с бумагами и, приподнявшись, протянул Меншикову.

Светлейший неторопливо вытащил из футляра очки в золотой оправе и погрузился в чтение бумаг, а Пирогова благодаря его впечатлительности почему-то сразу ударило в пот от тихонького со скрипом голоса главнокомандующего, которому был он с этой минуты подчинен, и от всего его вида.

«Что же это такое? Прострация?» — испуганно думал он, пока Меншиков перебирал и просматривал его бумаги.

Но вот светлейший отложил их в сторону и снял очки.

— Нам хорошие лекаря нужны, очень нужны-с, — заговорил он. — Большой у нас недокомплект лекарей... Да и какие имеются — плохи-с, хи-хи-хи...

Это хихиканье показалось таким неуместным Пирогову, что он покосился на топившуюся печку, в которой трещали сырые дрова, и сказал:

— Очень у вас жарко, ваша светлость!

— Жарко, вы находите? — поднял седые пучки бровей Меншиков. — Хи-хи-хи... Это потому, что вы еще молодой человек-с!.. Вот доживете до моих лет, и вы будете греться у печки, — годы-с! — Он покачал головой и добавил не в тон: — Как изволили доехать?

— О-о! — оживился мгновенно Пирогов. — Это была не поездка, а буквально путешествие, ваша светлость! Путешествовал по океану грязи!

— По стихии-с, открытой именно у нас в Польше Наполеоном, — слегка улыбнулся Меншиков. — C'est lui qui a trouve un cinquieme element en Pologne — la boue{34}.

— Я пришел, ваша светлость, к печальной мысли, что наши дороги от Курска и дальше на юг, а особенно в Крыму, являются просто препятствием на пути к месту назначения! — с чувством сказал Пирогов.

— Да-с, наши дороги осенью — они непроезжи, хи-хи-хи... За это мы должны поднести благодарственный адрес Клейнмихелю... Это он — министр путей сообщения — оставил нас без дорог.

— Конечно, с медицинской точки зрения в наших дорогах можно усмотреть нечто положительное: они, несомненно, полезны для пищеварения, особенно для страдающих атонией кишечника. Езда по ним — это превосходная гимнастика для всех брюшных внутренностей... А в Константинограде нам пришлось самим выводить лошадей из конюшни и запрягать, и мы уехали оттуда, даже не заплатив прогонов... Причина тому — полное отсутствие людей на станции... Мелькнул было, правда, в почтенном отдалении некто с перевязанной щекой, но тут же испуганно исчез... Проезжающие бьют их, конечно, смертным боем, но по-видимому, иначе нельзя: не избьешь хозяина станции — не поедешь!

— Хи-хи-хи, — скрипуче отозвался Меншиков, и, чтобы заглушить в себе почти испуг какой-то от этого светлейшего хихиканья, Пирогов продолжал с одушевлением:

— Но что делается на дорогах в Крыму, положительно неопишимо! От Бахчисарая до Севастополя пришлось тащиться ровно двое суток!.. Кстати, в Бахчисарае я встретил полковника Шеншина, командированного вами, ваша светлость...

— А-а! — несколько оживился Меншиков. — Так вы его встретили?

— Да, и мы вместе с ним осматривали госпиталь в Бахчисарае.

— И что же? Как вы нашли его?

Пирогов несколько помедлил с ответом. Он старался найти такой строй выражений, который был бы не слишком резок, и начал как бы описательно:

— Два казарменных домика, — домами их назвать нельзя, ваша светлость, — но в них помещаются триста шестьдесят раненых и больных... Нары... промежутков между лежащими никаких нет: плотная стена... Грязь... Вонь, хоть топор вешай! Порядка совершенно никакого: рядом с такими, у которых раны чистые, лежат гангренозные... Температура до двадцати градусов, но окна везде закрыты, воздух снаружи в этот ад не способен проникнуть... Шеншин все время держал платок около носа...

— Да-с, да-с... Но ведь двадцать четвертого числа было еще хуже... Столько было раненых, что мы не знали даже, куда их девать и что с ними вообще делать...

«Как так не знали?! — хотелось почти крикнуть Пирогову. — За кого же принимаете вы солдат, что вы их бросаете, как собак, чуть только они ранены? И, как же могут они биться при таких условиях, если убеждены, что вы их не считаете за людей?»

Но он сказал не то, что думал:

— Вот приезжают в самом скором времени сюда еще четверо врачей, командированных великой княгиней, и с ними человек тридцать сестер милосердия...

При упоминании о сестрах милосердия гримаса исказила лицо Меншикова, и он двумя пальцами почесал левое надбровье.

— А будет ли толк от них, от этих сестер? — сказал он с усилием. — Как бы не сделать после еще третьего, сифилитического, отделения в госпитале?

— Не знаю, ваша светлость, — сдерживаясь изо всех сил, постарался

спокойнее ответить Пирогов. — Мысль учреждения, очевидно, хороша, и там, в Петербурге, сестры уже были на практике в госпитале... Остается посмотреть, как удастся применить их труд здесь, в Крыму...

— Да, правда, есть и у нас тут какая-то Дарья... Говорят, что даже перевязывала раненых на Алме... Вообще помогала... За что получила и медаль даже... — Он скептически махнул рукой и добавил: — А что, вы уже приютились?

— Мне, ваша светлость, отвели здесь, на Северной стороне, на батарее, квартиру куда лучше вашей, — не без умысла с презрением оглянул обиталище главнокомандующего Пирогов.

— Хи-хи-хи... — отозвался Меншиков. — Да вот как видите, — в лачужке живу...

И он поправил сбившийся набок кожаный валик дивана, служивший ему подушкой, вытащил из-под него кучу каких-то писем и взял очки. Пирогов понял, что надобно уходить, и поднялся.

— Как ваше здоровье, ваша светлость? — спросил он больше из вежливости, чем из участия к нему лично.

— Да что вам сказать? К моим обычным недугам, кажется, желает прибавиться еще один — наполеоновский, — улыбаясь непроницаемо и подхихикнув, ответил Меншиков.

— Насморк, что ли?

— Нет... Задержка мочи... Один раз уже было... Если повторится, то, говорят, придется употреблять катетеры Дворжака.

— А-а!.. Но ведь при вас есть постоянный врач, ваша светлость?

— Да, как же... лекарь Таубе-с...

— Таубе? Что-то знакомая фамилия... Впрочем, Таубе — ходовая фамилия, — может быть, и не тот, которого я знавал когда-то... Честь имею кланяться, ваша светлость!

— Прощайте-с... Мы близко здесь живем друг возле друга, хи-хи-хи... Сутулый старик в халате поднялся, едва не стукнувшись теменем о балки потолка, и сунул Пирогову холодную даже в такой бане руку.

«Так вот она какова, судьба Севастополя! — ошеломленно думал Пирогов, отходя от лачужки. — Фатум, рок, провидение Севастополя... Хо-ро-ош! Эти ужимки, этот слабый голос, это нервное хихиканье, этот тик, эта задержка мочи (болезнь Наполеона!), эта рука мертвеца, эта

скверная шутка по поводу сестер милосердия, — что такое все это? Marasmus sinilis?^{35}... И так безучастно отнестись к описанию бахчисарайского госпиталя!.. Разве это такая мелочь, что не стоит малейшего внимания?..»

Уже смеркалось, когда Пирогов шел к себе на форт № 4. Началась перестрелка, хотя и редкая. Каждый выстрел огромных орудий сильно сотрясал воздух и долго в нем держался, расходясь кругами.

Глава третья. Дома скорби

I

На другой день утром Пирогов, одевшись как можно проще и натянув сверху солдатскую шинель, раздобытую для него одним из живших тут лекарей, отправился для осмотра сводного госпиталя на Северной стороне.

Его сопровождали приехавшие с ним врачи: Сохраничев — из донских казаков, и Обермиллер — из остзейских немцев; кроме того, при нем был и давний его сороботник — лекарский помощник Калашников, человек прекрасного здоровья, завидного аппетита, больших хозяйственных способностей, простого, но меткого остроумия, огромной трудоспособности и полного как будто отсутствия обоняния, что делало его незаменимым при перевязке нечистых ран.

Врачи госпиталя, почему-то весьма немногочисленные, хотя и был час обычных утренних визитаций, принимали знаменитого хирурга, точно нового своего начальника, с большим почтением, и Пирогову хотелось было в первый день знакомства со своими собратьями по профессии воздержаться в обращении к ним от каких-либо резкостей, однако он очень скоро вышел из равновесия. Оказалось, что тут он увидел то же самое, что видел в Бахчисарае, только в гораздо более крупных размерах, так как раненых было свыше двух тысяч человек. Так же лежали многие из них вповалку на нарах или просто на полу, не имея никакой другой подстилки, кроме собственных штанов.

— Это что такое, а?.. Что это такое, хотел бы я узнать? — возмущался Пирогов.

Ему объяснили, что не хватает коек, что не могут никак получить соломы для подстилок и для тюфяков; что мокрую от крови солому тюфяков приходится только слегка просушивать, но снова набивать ею те же тюфяки.

— Надо отправлять как можно больше раненых в тыловые лазареты, если здесь их не могут содержать по-человечески! — возражал Пирогов.

Но ему говорили, что отправляют по мере возможности, однако все время поступают новые раненые, а также больные.

— Я знаю, как отправляют отсюда раненых! — перебивал Пирогов. — Я видел лазаретные фуры с ними на всем пути между Севастополем и Перекопом... Ведь эти фуры просто орудия пытки! Соломы в них не было, раненые ничем не покрыты! У иных только шинель надета на рубашку, и ничего больше!.. А всю дорогу лил дождь, был холод! По всей дороге стоит стон: это везут раненых! Разве можно так отправлять живых людей? Конечно, половина из них не доедет до места назначения, а кто будет виноват в этой напрасной их смерти? Врачи... не госпитальное начальство, нет, — прошу мне не говорить этого, — а вы, врачи! Вы не смели позволять такой отправки раненых! Врачи отвечали, конечно, что они надеются теперь, с его приездом, на новый порядок дела, что ему, несомненно, удастся вырвать у начальства то, что не могли вырвать они. Однако и набор хирургических инструментов в госпитале оказался на оценку Пирогова тоже очень беден, иные ланцеты были непозволительно тупы, иные даже сломаны.

И морской и сухопутный госпитали разместились рядом в провиантских магазинах Михайловского форта на Северной стороне и в бараках около них. Жирная известково-глинистая грязь, из которой трудно было вытащить ноги, разлеглась между бараками. Соломенные маты для вытирания ног хотя и менялись по утрам, но к обеду были сплошь заштукатурены грязью и потом уже бесполезны.

В бараках было не только грязно, но и свету мало проникало в них сквозь узкие и низкие окошки.

— А как продовольствие раненых? — спросил Пирогов у дежурного врача.

— Давно уже начали писать бумаги об улучшении довольствия, — ответил тот.

— Иногда вам все-таки отвечают? — любопытно спросил Пирогов.

— Были и такие случаи... Обещали улучшить.

— Ждете?

— Ждем... И снова пишем... Ведь бумаги наши должны пройти через несколько ведомств, — это не делается сразу, вам это, конечно, известно.

— А пока раненые и больные пробавляются этим бумажным кормом? — воззрился исподлобья Пирогов.

— Что делать?.. У нас много больных крымской лихорадкой. Для них хинин необходим, как воздух, а его нет...

— Но об этом вы тоже пишете?

— Пишем! И не только мы одни. Мы извещены, что херсонский губернатор писал харьковскому генерал-губернатору, чтобы тот прислал для херсонского госпиталя хотя бы один фунт хинину, а он ответил, что не имеет и одной унции.

— Одесса должна иметь хинин, — сказал Пирогов, — ведь она, говорят, не прекращает торговли с границей. В Одессу нужно было обращаться, к одесским грекам, а не к харьковскому губернатору!

— Есть даже такой нелепый слух, будто и не в Одессе, а гораздо ближе к нам — в Керчи — на складе имеется чуть ли не пять пудов хинину!

— Этот слух немедленно должен быть проверен! — оживленно воскликнул Пирогов. — Это преступление — держать на складе столько необходимейшего препарата и не давать его в лазареты! За это мерзавцев надо судить по законам военного времени!

Но врач, говоривший с Пироговым, — это был еще молодой человек, завербованный из вольнопрактикующих, — только развел руками и добавил, понизив голос:

— Говорят, что по всей Новороссии приказано начальством ловить пиявок и отправлять в Крым для нужд больных и раненых... Однако мы что-то их не видим, этих пиявок. Был у нас случай: одному офицеру прописаны были пиявки к сильно контуженной ноге. Мы — к госпитальному начальству: «Есть пиявки?» Отвечают: «Были, да

передохли». Так и передали тому офицеру. «А в вольной продаже, говорит, нельзя ли достать?» Командировали фельдшера купить ему пиявок, если найдет. И что же? Найти-то нашел, только по империялу за штуку у одного будто бы армянина. Так и пришлось ему заплатить пятнадцать золотых монет за полтора десятка пиявок!

— Но ведь это же явная шайка мерзавцев! — не выдержав, крикнул Пирогов.

Врач втянул голову в плечи и повел ею вправо и влево, а убедившись, что госпитального начальства поблизости нет, добавил:

— Вопрос о хинине в Керчи требует расследования на месте, а с пиявками это уж нам самим пришлось иметь дело.

II

В это время, переправившись через рейд на баркасе, два солдата одного из пехотных полков принесли своего земляка со свежей тяжелой раной: осколком бомбы разможило ему ногу ниже колена.

Раненый был крепкий на вид малый из молодых рекрутов. Пирогов осмотрел его сам и спросил:

— Как зовут?

— Рядовой Арефий Алексеев, — бодро ответил раненый.

— Вот что, друг Арефий, придется ведь тебе эту ногу отрезать, она уж отслужила свое.

— Воля ваша, резать если, так, значит, режьте, — спокойно сказал Арефий, и его понесли в операционную на черных от крови носилках те же самые двое, которые доставили его сюда из города.

Пирогов делал ему ампутацию сам; Арефий же под хлороформенной повязкой лежал неподвижно, а когда очнулся, наконец, ему уже забинтовывали остаток

ноги.

— Что, уж как следует я безногий теперича? — спросил одного из своих земляков Арефий.

— В лучшем виде, — ответил земляк, поглядывая на Пирогова, а Пирогов тоже отозвался весело:

— Теперь, брат Арефий, дело твое в шляпе... Ничего, и без ноги до ста лет доживешь.

— А шинель моя игде? — принял деловитый вид раненый, обратясь к одному из земляков. — Достань, Рыскунов, там в кармане узелок есть махонький...

Рыскунов проворно засунул руку в карман его шинели и вытащил грязную тряпицу, завязанную узлом.

— Это, что ли?

— Это самое и есть!

И Арефий принялся развязывать крепкий узел, помогая рукам зубами. Наконец, осторожно достал из тряпицы две рублевых ассигнации и одну из них протянул Пирогову.

— Ваше благородие, вот, получите от меня за праведные труды ваши, — проговорил он торжественно. — Сам вижу, что постарались вы мне хорошо ногу отрезать, так что я и боли от этого никакой не поимел! Возьмите, дай, вам бог здоровья, сколько могу, ваше благородие!

— Вот он! Видали, какой! — улыбаясь, кивнул на него Пирогов, обернувшись к Обермиллеру и Сохраничеву; а Калашников не утерпел, чтобы не сделать замечания раненому:

— Эх, деревня ты! Что же ты его превосходительство благородием зовешь?

— Превосходительство нешто? — удивленно и растерянно несколько впился глазами в широкую пироговскую плешь Арефий: трудно было и поверить, чтобы генералы делали операции.

Пирогов же отвел его руку с ассигнацией и сказал улыбаясь:

— Много это ты мне даешь, друг Арефий, — половину своего состояния! Спрячь-ка свою рублевку: на костыль она тебе пригодится, а ноги резать, хоть я и превосходительство, я обязан, за то я жалованье свое получаю.

Арефий понял, что вышло у него как-то не совсем ловко, хотя и от чистого сердца, рублевку приложил к той, которая осталась в тряпице, и проговорил покраснев:

— Прощенья просим, ваше превосходительство!

— А чаю не хочешь? — быстро спросил его Пирогов.

— Чаю? Пок-корнейше благодарим! — по-строевому ответил Арефий, но, поглядев на земляков, которые улыбались, улыбнулся робко и сам и добавил: — А может, вместо чаю водочки чарку пожалуете, ваше

превосходительство, для сугрева тела?

— Можно, братец! Вполне можно дать тебе водки чарку, — тут же согласился Пирогов, и скоро Арефию принесли прямо в операционную водки в оловянной чарке казенного образца.

Арефий подтянулся оживленно, оперся на локоть, наклонил голову в сторону Пирогова, пробормотал радостно: «За ваше здоровье!», вытянул ее всю, не отрываясь, крикнул, зажмурил глаза, покрутил блаженно шеей, обтер губы согнутым пальцем и сказал вдруг совсем уже неожиданным, детски просительным тоном:

— Ваше превосходительство! Что я вам хотел доложить, не осерчайте! Товарищам вот моим двоим, как они ради меня очень дюже старались, — доставили меня, куда надо было, — неужто нельзя им будет тоже по чарке поднести? Ведь они труда сколько понесли ради меня, а?

— Верю, братец, верю, — заулыбался ему во весь свой широкий добродушный рот Пирогов. — Непременно и им дадим по чарке водки: заслужили.

— Пок-корнейше благодарим, ваше превосходительство! — вытянувшись по-строевому, отчеканили оба егеря, во все глаза глядя на странного лекаря.

III

Несколько часов провел Пирогов в госпитале, опрашивая и осматривая раненых, иногда же лично делая операции тем, у кого еще не были вынуты из тела штуцерные пули или мелкие осколки разрывных снарядов: хирургов в Севастополе было мало, раненых в результате Инкерманского боя насчитывалось до семи тысяч, кроме того, ежедневно поступали новые после дневных, хотя и довольно вялых, бомбардировок и ночных вылазок.

Раненные на Инкерманских высотах, правда, деятельно вывозились из Севастополя в тыл на тех «орудиях пытки», какие встречались и Пирогову; эти несчастные оглашали безответную, утонувшую в дождях и грязи степь своими стонами.

Но на смену раненым в госпитали начали поступать сотнями больные «пятнистой горячкой», «тифусом», то есть сыпняком, который в те времена приписывался скверному воздуху и сырости землянок на

бастионах и бивуаках и миазмам от неубранной падали и непохороненных человеческих трупов — жертв войны.

Пирогов остро чувствовал свое бессилие чем-нибудь помочь в этом гарнизону крепости и полевым войскам.

— Конечно, — говорил он врачам госпиталя, — в первую голову надо бы распорядиться закопать всю падаль, которая тут чуть что не на каждом шагу повсюду...

— Даже и в бухте плавает, — дополняли врачи.

— Вот видите! В бухте — посреди города!.. Я, конечно, прислан сюда в распоряжение главнокомандующего, однако же я, к сожалению, не то чтобы и полномочное начальствующее лицо, — вот в чем штука! Начальник по медицинской части у вас тут, как я уже слышал, Шрейбер — генерал-штаб-доктор и тоже действительный статский советник.

— Мы его видели только один раз, — вставили врачи.

— Где же его больше и видеть? Он, конечно, все отчеты составляет о движении раненых и больных и прочие бумаги пишет, — как же его увидеть? А нет чтобы отправить хотя бы целый батальон, чтобы закопать всю падаль в окрестностях и трупы похоронить, где они остались неубранными... А на дороге к Симферополю, может быть, вся тысяча палых волов и лошадей лежит в грязи! Ведь можно себе представить, что будет тут, в Севастополе, весной, если не позаботятся их закопать теперь же! Я, конечно, буду докладывать об этом лично его светлости, но... за успех не ручаюсь... хотя всячески пытаться буду его убедить.

В тот же день Пирогов со своим штабом переправился в город, чтобы осмотреть главный перевязочный пункт, помещенный в доме Дворянского собрания, и другие столь же печальные места.

По мере того как Пирогов в простой солдатского сукна шинели и в лекарской фуражке, сдвинутой на затылок, подходил от Графской пристани к дому Дворянского собрания, он оглядывался кругом и радовался вслух, что не замечал особенно зияющих следов бомбардировки, а красивое здание собрания совершенно его пленило. Однако стоило ему только войти в большой двусветный танцевальный зал, чтобы он передернул ноздрями и оглянулся на своих врачей,

пораженный.

Внешне тут было гораздо чище, чем в бараках на Северной. Тут стояли правильными рядами и не слишком часто койки одного образца и с одинаковыми зелеными столиками около них; пол был паркетный, и даже белелись половики между рядами коек, как в заправской больнице, но тяжелый жуткий запах мертвецкой отталкивал и заставлял непроизвольно искать в кармане платок или портсигар.

Только бравый лекарский помощник Калашников проявлял довольно живое любопытство, оглядывая высокие белые стены с пилястрами из розового мрамора: зал этот казался ему ненужно роскошным для перевязочного пункта, и только.

Можно было и в самом деле подумать об этом лекарском помощнике, что он совершенно лишен обоняния, однако он первый наклонился над паркетинами пола, покоробленными уже и треснувшими здесь и там, присмотрелся к ним и сказал Пирогову:

— Тут, кажется, чуть ли не на вершок в глубину крови натекло в трещины: она это и гниет... Моят, должно быть, пол швабрами, — да разве вымоешь, если впиталось?

— Да, этот дом надо основательно проветрить, — отозвался ему Пирогов.

Раненые лежали на койках под одинаковыми серыми одеялами, но, обходя их, как на визитации, Пирогов скоро увидал и здесь ту же беспомощную неразбериху, какая поразила его в Бахчисарае и повторилась в госпитале на Северной: гангренозные, дни которых были уже сочтены, а раны заражали воздух, помещались рядом с теми, которых пока еще совсем не звала к себе смерть, которые по всем признакам должны были выздороветь и вернуться в строй. Кроме того, здесь же почему-то оставались и легко раненые, в то время как их гораздо лучше было бы собрать где-нибудь в другом, не столь печальном месте или даже отправить после перевязки в их войсковые части.

У нескольких раненых Пирогов нашел рожистое воспаление.

— Ну, эта гадость приобретена уже здесь! — возмущенно говорил он.

— Смело могу предсказать, что подобных случаев будет чем дальше, тем больше... Нет, знаете ли, решительно перевязочный пункт этот

надо как следует очистить и проветрить: он стал чрезвычайно опасен для здоровья!

Около него столпились несколько человек экстренно собравшихся здешних врачей, между которыми оказались один американец и двое немцев из Пруссии, — все хирурги. Последние знали о Пирогове по его работам и смотрели на него с большим почтением.

На хорах, откуда еще 30 августа гремели туши и вальсы оркестра Бородинского полка, теперь был склад бинтов, корпии, компрессов, белья, одеял — всего необходимого для раненых, а бывшая бильярдная — обширная светлая и с богатыми зелеными обоями, украшенными золотым тиснением, стала теперь операционной.

В этой комнате, где предстояло Пирогову сделать огромное число ампутаций, трепанаций, резекций, он задержался на несколько минут, оценивая на глаз и подбор инструментов в шкафу, и стол для раненых, и то, как именно падал из окон свет на этот стол, и прочее, что влияет на удачу операций.

Здесь и застал его командированный Меншиковым, чтобы его сопровождать, лейб-медик светлейшего — лекарь Таубе, в котором Пирогов едва узнал своего старого знакомого, бывшего студента Дерптского университета.

Теперь это был дородный, высокий человек с загадочной улыбкой на сытом лице, говоривший размеренно, важно и веско, как подобает настоящему лейб-медику. Тогда же это был длинный и тонкий белесый молодой человек, панически боявшийся экзаменов.

Особенно трагически переживал этот студент экзамены на степень лекаря. Он решил даже заболеть, чтобы не ходить на экзамены. Однако суровый декан Вальтер приказал педелям доставить его для экзамена по своим предметам к себе на дом. Так как приказ был строгим, то педеля, возможно, обошлись со студентом Таубе и без достаточной нежности, но на дом к Вальтеру он был доставлен. Однако он решительно заявил, что стоя отвечать не может.

— Садитесь в кресло! — предложил ему Вальтер.

Но и кресло не удовлетворило Таубе.

— Я не могу сидеть, — сказал он мрачно.

— Ложитесь на диван в таком случае! — прикрикнул Вальтер.

Уложили на диван, принесли холодной воды, и экзамен начался...
Подробностями этого оригинальнейшего экзамена долгое время жил склонный к анекдотам Дерпт. Но теперь Пирогов видел справедливость старой французской поговорки^{36}: лейб-медик главнокомандующего, говоря с ним, улыбался и снисходительно и даже покровительственно, пожалуй.

А в одном из бывших кабинетов собрания, как раз именно в том, где так недавно, всего два с половиной месяца назад, Меншиков и другие старшие в чинах из севастопольского гарнизона и флота рассуждали о том, отважатся ли союзники высадить десант, Пирогов встретился с Дашей.

В кабинете этом лежало человек десять тяжело раненных и уже прошедших через операционную матросов и солдат, между ними был и один француз с отрезанной по плечо рукой, который восторженно глядел на Дашу, помогавшую фельдшеру перебинтовывать его соседа, и повторял:

— An la soeur, la soeur!^{37}

Сюда перевелась Даша всего несколько дней назад, после того как хатенку ее на Корабельной совершенно разнесло большим английским снарядом, но здесь, на новом для нее перевязочном пункте, она старалась держаться как старослужащая, отлично знакомая с лазаретной обстановкой и понимающая с полуслова, что и как надо делать.

Она успела уже привыкнуть к здешним врачам, но когда они вошли в эту небольшую палату сразу несколько человек, в окружении еще нескольких новых, такое многолюдство не могло ее не встревожить, и она так и застыла, обернувшись к ним, с бинтом в руках, с вопросом в расширенных синих глазах и с невольным замиранием сердца.

А Пирогов, заметив у нее на груди, на белом переднике, серебряную медаль на алевшей аннинской ленте, сразу догадался, кого он видит, но на всякий случай обратился вполголоса к Таубе:

— Дарья?

— Да, это есть Дарья, — снисходительно улыбнулся Таубе.

— Гм... А я ведь представлял тебя гораздо постарше, Дарья. Здравствуй! — весело сказал Пирогов.

— Здравствуйте, ваше... — запнулась она, затрудняясь определить его чин.

— Что стала в тупик? — притворно нахмурился Пирогов. — Бери как можно выше!.. Медаль, смотри-ка ты, уж заслужила, ого!

— И еще, кроме этого, пятьсот рублей деньгами, — не то одобрительно, не то порицательно добавил Таубе.

— Пятьсот? Вот, полюбуйтесь-ка на нее! Замужняя?

— Никак нет, девица, — ответила Даша.

— Завидная невеста! Это кто же именно, — его светлость так наградил ее? — спросил Пирогов Таубе, удивясь.

— Не-ет, — сделал непроницаемую легкую гримаску Таубе. — Это по приказу из Петербурга.

— А-а! Но кто-нибудь отсюда же сделал представление?

— Кажется, что это покойный адмирал Корнилов, насколько я слышал...

— Вот кто, тогда понятно... Так вот, Дарья, скоро сюда приедет целая община сестер милосердия, чтобы одной тебе не было жутко здесь, — положил Даше на плечо руку Пирогов.

— Какая же тут жуть? — удивилась Даша. — Да теперь и стрельбы стало мало совсем.

Она старалась говорить тихо, хотя и вполне внятно, но, видимо, и самый этот намеренно тихий девичий голос волновал безрукого француза.

— *La soeur!* — снова проговорил он, восторженно глядя только на нее, а не на этих вошедших.

Может быть, забыл он в эту минуту, что он в плену, что он тяжело ранен, лежит на госпитальной койке не в Марселе и даже не в Скутари, а в том самом Севастополе, который его изувечил. Он не обратил, казалось, никакого внимания и на этих вошедших в палату новых русских и между ними на приземистого человека с угловатым и плешивым, как у Сократа, черепом, — Пирогова. Для него как бы ясна была только одна истина: приходят и уходят, отгремев, войны, приходят и уходят со своими ланцетами врачи, — женщина остается.

Пирогов же, наблюдая из-под нависших надбровных дуг внимательно и зорко за всем кругом и за французом так же, как и за Дашей,

сказал, обращаясь к Сохраничеву:

— Да, пусть там как хотят и говорят что угодно всякие скептики и умники, а послать сюда сестер — это превосходная мысль!

IV

Когда Пирогов выходил из бывшего дома веселья, ставшего теперь домом стонов, крови, горячечного бреда, он обратил внимание на расположенный вблизи деревянный двухэтажный дом, к которому подходили солдаты с закрытыми носилками.

— Там что такое? Еще один перевязочный пункт? — спросил он Таубе.

— Нет, Николай Иванович, в этом доме уже никого не перевязывают, — непроницаемо улыбнулся Таубе. — Это есть не более как морг.

— Мертвецкая! Вот как! И потом отсюда куда же? На Северную, через бухту?

— О, да, да... Тела отпеваются тут накоротке, — тут есть как бы часовня... Потом их нагружают, на баркас и отправляют для погребения. Это есть бывший дворец императрицы Екатерины, а перед самой высадкой союзников тут его светлость имел свою резиденцию!

И Таубе развел рукою, как бы удивляясь сам прихотливой судьбе этого еще не так и старого дома, и добавил:

— А под отделение этого, то есть первого перевязочного пункта, мы заняли недалеко отсюда один дом — купца Гущина... Купец Гушин из Севастополя выехал, так что дом его освободился...

— Сколько же можно поместить раненых в доме Гущина? — любопытно спросил Сохраничев, человек хотя и молодой еще, но осанистый, широкий, обстоятельный.

— Там... если потеснее, чем здесь, то, пожалуй, сто двадцать, даже все полтора ста... да здесь двести, итого, скажем так, триста пятьдесят...

— Не мало ли все-таки? — спросил Пирогов.

— Пока, на зимний, так сказать, сезон, мы думаем обойтись, — не без важности ответил Таубе, как будто это зависело всецело от него: захочет обойтись — обойдется. — Что же до Корабельной стороны, то там, в морских казармах, второй перевязочный пункт гораздо больше,

даже в несколько раз больше: там рассчитано на полторы тысячи человек... Завтра вы могли бы, я так думаю, познакомиться и с этим пунктом.

— Вы полагаете, что сегодня уж поздно? — несколько недовольно спросил Пирогов.

Таубе посмотрел на солнце, на него и неторопливо принялся доставать свои часы, говоря между тем:

— Я думаю, что это займет порядочно времени, а между тем мы имеем сейчас...

Они еще стояли на широкой мраморной лестнице, когда к ним подошла раскрасневшаяся от быстрой ходьбы девушка лет семнадцати на вид и, заметив между ними дородного и державшегося хозяином Таубе, протянула ему какой-то пакет, серый, казенного вида, спрашивая при этом и его и как бы всех прочих на лестнице:

— Ведь это здесь, мне сказали, помещается первый перевязочный пункт?

— Вы что, к раненому офицеру? — спросил ее Пирогов, разглядывая ее синюю бархатную шляпу с блондами и свежее лицо.

— Нет, я сюда, чтобы... — и девушка замялась, стараясь найти слово, которое заменило бы слово «служить», наконец, закончила: — чтобы помогать...

— Кому помогать? И чем именно помогать? — недоуменно спросил Пирогов.

В это время Таубе, успевший уже вскрыть пакет и пробежать бумажку, обратился к нему с едва уловимой усмешкой в голосе:

— Чтобы понять это, Николай Иванович, надо ознакомиться с сопровождением, гласящим вот что: «Допускается распоряжением начальника гарнизона города Севастополя... к уходу за ранеными и больными воинами на первом перевязочном пункте дочь капитана 2-го ранга в отставке Варвара Зарубина с нижеписанного числа ноября месяца тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года...» и прочее... Подписал генерал-лейтенант Моллер.

— Та-ак! — протянул Пирогов, улыбаясь благожелательно. — Это значит — на ловца и зверь бежит! А вы где же учились, барышня, уходу за ранеными?

Варя Зарубина только теперь поняла, что самое важное лицо из всех, стоявших перед нею на лестнице, был именно этот вот в поношенной солдатской шинели, на котором не было никаких погонов.

— Я скоро научусь, — тихо проговорила она, глядя на Пирогова почти умоляюще, но он отозвался с отеческой ноткой в голосе:

— Только бы самой не заболеть, а научиться, конечно, можно... Сестры милосердия должны скоро приехать сюда, проситесь к ним в общину, авось примут... Да и здесь, — кивнул он головой на дверь собрания, — есть девица одна, Даша, — золотая девица! Подите к ней, познакомьтесь... Она вас и бинтовать научит...

Но, вспомнив, как поморщился он сам и подтянул губу к носу, когда вошел в залу, в которой разместилось до ста коек с ранеными, Пирогов добавил:

— Впрочем, если вы не вынесете здешней обстановки и через пять минут сбежите к себе домой, мы вас осуждать за это не будем, так и быть.

Варя поглядела на него, на Таубе и на других и ответила на это с тою самонадеянностью, которая так свойственна юности:

— Нет, я вынесу! Я непременно вынесу все!

— Ну, вот и прекрасно, — улыбнулся ее горячности Пирогов. — А мы пойдем в таком случае в дом купца Гущина.

Глава четвертая. Молодежь

I

За несколько дней до этого Витя Зарубин пришел на батарею лейтенанта Жерве, вспомнив, что лейтенант этот был сослуживцем его отца, батарея же, которой он командовал, находилась рядом с Корниловским бастионом, как теперь, по приказу самого царя, стал называться Малахов курган.

Место, где был поражен ядром адмирал Корнилов, имело для Вити притягательную силу и само по себе, кроме того, он надеялся, что Жерве, часто и задолго до Синопского боя бывавший у них в доме, а его знавший еще мальчиком и называвший совсем попросту «ты,

Витюк», не попросит его уйти с батареи.

От одного пленного английского офицера пошел слух, будто Корнилова, разъезжавшего 5 октября по бастионам, заметили с ближайших батарей интервентов по его лошади золотистой масти с белесой гривой. Не знали только, что это Корнилов, но видели, что какой-то важный генерал, и ждали, когда он подойдет к своей лошади на Малаховом кургане, чтобы пустить в него ядро.

Лошадь Корнилова была действительно такова — золотистая, со светлой гривой, — но, когда дошел этот слух до Вити, он усомнился, можно ли было разглядеть, хотя бы и при помощи сильной трубы, эту лошадь сквозь тот дым, который сплошь окутывал бастионы. Он сразу решил, что это досужая басня, однако ему после этой басни неудержимо захотелось проверить слух самому на деле.

Правда, Капитолина Петровна каждый день с утра заклинала его «не шляться около всех этих там бастионов и батарей», и он давал слово не «шляться» там. Он был послушный сын, любил свою мать и хорошо понимал ее. Он видел, что на него переходили с плеч искалеченного отца все заботы по семье и дому и даже втайне гордился этим. Пятнадцатилетний, он стал казаться самому себе гораздо старше.

Но в этот день, как и вообще после бури 2 ноября, было тихо на бастионах. Обыкновенно бывало так, что вся семья Зарубиных, спасаясь от снарядов, бросала по утрам свой дом и откочевывала в адмиралтейство или переезжала на Северную. Теперь же в этом не было надобности: к ленивой, вялой перестрелке привыкли уже, и она нисколько никого не пугала, — ожесточенной же канонады не ждали и о ней не думали, так что даже и Капитолина Петровна не вспомнила о своих обычных напутствиях Вите: он в этот день чувствовал себя почти свободным.

На батарею Жерве проник он вполне беспрепятственно, и все здесь привлекало жадное внимание мальчика: и ряд длиннохоботных чугунных орудий, знакомых ему по боевым кораблям, и шершавые банники, торчавшие при них, и деревянные площадки, по которым откатывались пушки назад после выстрела, и брустверы из мешков и фашинов, набитых землею, и кучи ядер около орудий — гостинцы врагам, и сигнальные на своих постах, и матрос, который, пользуясь

затишьем, приколачивал к своему сапогу набойку, и другой матрос, сосредоточенно, по-трудоному, вслух разбиравший по складам, что было напечатано в тоненькой, грязной, истрепанной книжонке, по виду житии какого-то святого.

Но больше всего удивил его мальчуган лет десяти на вид, в матросском бушлате, перекроенном на его рост в ширину, но достигавшем ему до пяток, и в форменной бескозырке, с пестрыми ленточками. Он с самым серьезным видом возился около прицела одного из орудий.

— Ты что тут такое делаешь? — несколько даже строго обратился к нему Витя.

Мальчуган поднял на него смысленные серые глаза и, сразу определив, что это — совсем не начальство, ответил не без важности:

— За прислугу я здесь состою.

— Как за прислугу? За какую прислугу? — не понял Витя.

— А вот — при орудиях, — кивнул на замок пушки мальчуган.

— Что ты болтаешь чушь!.. К отцу пришел, что ли?

— Отца уж нету — убили, — серьезно ответил мальчуган. — Я вместо его теперь.

— Как это «вместо его»?

— Так... Наводчиком я здесь, как и батька мой был...

— Хо-ро-ош наводчик! — слегка хлопнул его по бескозырке и сдвинул ее ему на глаза Витя.

Но матрос, читавший по складам книжку, счел нужным вступить за мальчугана:

— Это он сущую правду вам сказал, господин юнкирь: у него насчет наводки глаз такой вострый, что лучше даже и не надо!

— Сколько ж ему лет? — удивился Витя.

— Двенадцать уж, — поспешно ответил за матроса мальчуган, но матрос погрозил ему пальцем:

— Николка, не ври! Вот же мальчишка какой вредный: что касается протчего, он не врет, а как спросят, сколько годов имеешь, ну, всегда лишнее прибавит! Ему еще и одиннадцати нету, — я же это в точности знаю: на его крестинах был, а ему все хочется, чтобы поболее... Эх, Николка, Николка!

Николка же ничуть не устыдился, что его уличили, только качнул лихо головою в сторону такого памятливого книжника, потом отвернулся и независимо циркнул через зубы.

Другой матрос, приколотивший уже к тому времени набойку, натянувший сапог на расправленную портянку и поднявшийся, тоже счел нужным похвалить Николку:

— Он, Николка этот, повсегда отцу своему обедать приносил, господин юнкирь. Баловство, конечно, бабье, ну, все им корпится свое доказать, что ихний борщ не сравнить с казенным, какой дают... Ну, одним словом, забота, дескать, бабья об муже об своем... А она, забота эта, вышла ему гораздо хуже... В тую вон лоцинку обедать он отошел, пообедал, все как следует, покрестился: «Вот, говорит, спасибо тебе, сынок, накормил свою батьку!» И только это шага на три отошел назад к батарее, а ядро, значит, вот оно! И сигнальный кричал — все честь честью было. Ну, что ты сделаешь, все одно как по нем пущено было, — враз на месте убило! Что твердости больше в себе имеет — ядро ли чугунное, или же голова?.. Ну вот... Собрали мы его, что осталось, отправили на Северную, а мальчишка, спустя время, явился, как у него уж привычка была сюда к нам ходить: «Я, грит, заместо отца стану! У меня, грит, глаз, и батька говорил, меткий». Ну, а батька его, он, конечно, наводку ему показывал, так шутейно... Видим мы, мальчишка ревет, слезами исходит, а идти от нас не хочет. Упросили командира батареи — разрешил. Что же с ним сделаешь? Вот и вышел из него наводчик...

— Так что и в лошадь попадешь, если увидишь? — очень живо спросил Николку Витя.

— В лошадь! — презрительно протянул Николка. — Тоже штука большая!

И Витя сразу поверил, что нашелся меткий наводчик и там, у англичан, и оставил Севастополь без Корнилова.

Все юное самолюбие Вити — очень острое и сторожкое именно в переходном возрасте, когда ломается голос — поднялось против этого шмыгающего курносым носом и циркающего через зубы мальчугана в отцовском бушлате... Будто бы и действительно он такой уж меткий наводчик! Гораздо легче было допустить и перенести, что просто

шутят над ним, над «юнкирем», эти старые матросы, всегда и вообще, насколько он их знал, склонные к шуткам.

Витя и сам на учебном судне на практических занятиях проходил наводку орудий по неподвижным целям, однако ему никогда не приходилось самому лично убедиться в том, каковы были бы результаты его стрельбы. Теперь же, вот тут, его пытались уверить, что какой-то мальчишка-матросенок, которому еще и одиннадцати нет, уже комендор, и может быть, тоже вывел из строя там, у противника, если не адмирала, то хотя бы батарейного командира...

Сквозь амбразуру Витя пытался и сам разглядеть что-нибудь живое там, на неприятельской стороне, но видел только линии насыпей, казавшиеся отсюда очень низенькими: ничего грозного в них не было. Конечно, в зрительную трубу он мог бы разглядеть больше, но труба была у дежурного, стоявшего на банкете и наблюдавшего за чем-то там неотрывно.

Начиная с 5 октября в Севастополе и кругом смерть тех или других, иногда знакомых даже, иногда крупных по своему положению начальников, стала такую обычной, что как-то не сразу дошел до сознания Вити рассказ матроса о смерти отца Николки. Когда же дошел, то оказалось вдруг, что было у него, Вити, с этим вот Николкой кое-что общее, хотя капитан Зарубин и не убит.

Он жив еще, но ведь он — калека благодаря тоже вражескому, синопскому ядру, и потому теперь в отставке не от службы только, от обороны Севастополя...

Нельзя сказать, что мысль о том, чтобы самому, как этот Николка, стать в ряды защитников города, так и не приходила никогда до того в голову Вити. Напротив, эту мысль изо всех сил приходилось ему подавлять в себе отчасти потому, что ее очень боялась мать, но больше потому, что рота юнкеров флота была распущена еще до Алминского боя и юнкерам-несевастопольцам было даже строго приказано выехать отсюда туда, где жили их родные. Так что жизни их берегли не одни только матери.

Однако готовившийся с детских лет служить во флоте Витя иначе и не представлял себе место, как там, на одном из кораблей или хотя бы пароходов боевого ранга. Он каждый день ходил их проведывать с

набережной, с Графской пристани, с Приморского бульвара. Он следил за жизнью на них и около них горячими глазами природного моряка. Служба же там шла, как и в обычное время, хотя большая часть экипажей сидела уже на бастионах около своих снятых с судов орудий, а часть лежала в госпиталях или в братских могилах на Северной...

В душе Вити и до этого дня все уже было готово к тому, чтобы вспыхнуть внезапно и загореться надолго, и хотя из ребячьего самолюбия ему и не хотелось, чтобы зажег его какой-то матросенок, но он уже загорелся. Правда, это случилось с ним тогда, когда он увидел лейтенанта Жерве, показавшегося на левом фланге своей батареи.

Он узнал его по походке; несколько вихлястая от раскочки тела влево и вправо, она почему-то всегда казалась Вите красивой: в ней, на его взгляд, так и просвечивала вся широкая натура этого веселого кутилы-лейтенанта, и он пошел ему навстречу, совсем не желая подражать и все-таки как-то невольно шевеля в такт шагу плечами.

— А-а, Витюк! Ты как здесь и зачем?.. Здравствуй! — крикнул ему за несколько шагов Жерве.

— Здравия желаю! — ответил Витя. — Я... сюда к вам... — и запнулся, не зная, как именно сказать, что он надумал.

— Зачем? Что случилось? — сразу обеспокоил влажные зеленоватые глаза Жерве, беря его за руку. — Отец?

— Нет, я, я сам... — поспешно отозвался Витя, не поняв, что Жерве подумал об отце его, не умер ли вдруг, скоропостижно.

— Что именно ты сам?

— Пришел к вам... Возьмите меня на батарею волонтером, — наконец, залпом выговорил Витя.

— Во-лон-тером? Вот оно что-о! — повеселел снова Жерве. — А кто же тебя ко мне направил? Неужели отец?

— Нет, не папа, а...

— Мама, что ли?

Витя даже улыбнулся, когда лейтенант упомянул о его матери, но промолчал.

— Понимаю, братец! Ты, не спросясь броду, лезешь в воду! Нет,

голубчик, я даже никакого и права-то не имею принимать тебя, это во-первых, а затем-с, разве ты совершеннолетний, чтобы располагать собою? — И Жерве попытался даже по-начальнически сдвинуть черные брови.

Но так как Витя после этого сразу как-то увял и стоял потупясь, то он слегка обнял его, заглянул сверху в его глаза и улыбнулся, хотя все-таки непреклонно, так что Витя раскраснелся вдруг, как от обиды, в пробормотал:

— А как же у вас на батарее за прислугу матросенок один?

— Николка Пишенков? Есть такой... Ну, братец, он ведь сирота, безотцовщина... Куда же ему деваться?

— Говорили матросы, что на-вод-чик даже! — презрительно, насколько мог, протянул Витя.

— Действует и по этой части, каналья, и неплохо действует! Глаз есть! А ты иди-ка домой, чтобы мне за тебя перед Иваном Ильичом глазами не моргать. Тут, брат, юнкерам гулять не полагается... Тут за такими гуляками стрелки из ложементов охотятся. Итак, передай мои поклоны маме, папе, сестричке... Где вы все теперь обитаете, кстати? Неужели все у себя дома? И не боитесь?

Нотки голоса Жерве были ласковы, но он, держа его руку одною рукой, другой поворачивал его лицом к городу, откуда пришел на батарею Витя.

II

Нехорошо получать в чем бы то ни было отказ, но гораздо хуже, когда тебе отказывают, принимая тебя за какого-то ребенка.

Несмотря на ласковый голос Жерве, Витя отошел от него оскорбленный. Он пошел было действительно к городу, но, пройдя десятка два вялых шагов, оглянулся назад. Жерве, этот записной прежде щеголь, которого так изменили, — однако совсем не к худшему, — забрызганная чем-то шинель и ботфорты, заляпанные грязью, завидно хозяйничал на своей батарее, остановясь как раз около тех двух матросов и Николки и указывая им на кучу ядер.

Может быть, готовились тут открывать очередную пальбу, а он должен уйти, как побитый! Но вот явилось вдруг соображение, показавшееся

неоспоримым: лейтенант, хотя бы и командир батареи, пожалуй, ведь действительно не имеет полномочий принимать волонтеров, но контр-адмирал, как, например, Истомин, начальник целого отделения линии обороны, — у него-то, наверное, такие полномочия имеются!

Конечно, говорить с адмиралом ему, юнкеру, это совсем не то, что говорить с лейтенантом, да еще сослуживцем отца; к адмиралу прежде всего и подойти гораздо труднее, но Вите показалось вдруг, что он допустил одну большую ошибку в разговоре с Жерве и уж не повторил бы ее, если бы удалось увидеть Истомина и говорить с ним. У него даже уши стали горячими от стыда за свою оплошность. Разве так нужно было ответить лейтенанту, когда он спросил: «Кто тебя ко мне направил?..» Так запнуться и смешаться и не подыскать нужного ответа, как это вышло у него, действительно только и мог бы сделать ребенок, а еще просится в волонтеры!..

И весь в охватившем его негодовании на самого себя, Витя, не дойдя до пехотного прикрытия батареи Жерве, круто повернул к Корниловскому бастиону.

Он прошел мимо ряда торговых, сидевших среди жидко размешанной грязи, перемешанной с подсолнечной шелухой, на своих низеньких скамеечках и на коленях державших корзинки с бубликами и булками, которые здесь называли франзолями. Какой-то рябоватый пожилой унтер с седеющими бачками и длинными усами говорил, крякая, одной из них:

— А ну, тетка, давай-ка мне французскую булку, переведу ее на русский язык!

Немного же дальше, у пирожницы, другой солдат нашел в купленном у нее пирожке, в начинке, кусок тряпицы и, потрясая им, кричал на нее:

— Что же ты, лярва, с холстиной какой-то пирожки продаешь!

— А тебе беспреренно за твой пятак да чтобы с ба-архатом! — отзывалась зубастая торговка, и солдаты и матросы кругом хохотали.

Какая-то ухватистая старушка умудрилась тут же, посреди грязи, поставить жаровенку и кадушку с тестом и печь оладьи. Шлепала куски теста в шипящее на сковородке постное масло и приговаривала:

— Вот, солдатики-братики, начистоту действую, без омману!.. Вот у

всех на глазах пеку без омману, — кушайте на здоровьишко!

Другие бабы шли с узлами и узелками в сторону блиндажей, несли вымытое, выглаженное на рубеле скалкой белье офицерам, а может быть, и своим мужьям — матросам и солдатам. Витя знал, что они, конечно, матроски и солдатки и живут здесь же поблизости, на Малаховом и на Корабельной, хотя видел, проходя, что на Малаховом иные домишки сгорели, от иных остались только кучки камней, глины и сору.

Корниловский бастион оказался куда более людным и оживленным, чем батарея Жерве. Правда, здесь стояло уже в то время сорок три разных орудия, однако все крупных калибров — от шестидесятивосьмифунтовых до пудовых единорогов.

Витя продвигался медленно, ища глазами кого-нибудь такого, к кому можно было обратиться со своим вопросом об адмирале Истомине, и вдруг неожиданно встретился с унтер-офицером Бородатовым, иногда заходившим к ним в дом, к хорошему знакомому своему — Дебу.

Витя знал, что тот года три назад был разжалован из подпоручиков инженерного ведомства в солдаты до выслуги — за то, что держал у себя какие-то вольнодумные книги.

Знакомое лицо бывшего подпоручика, сухощавое, но веселое, несмотря на солдатскую ляжку, которую он нес, сразу притянуло к себе Витю.

— Вы чего тут? — спросил, улыбаясь, Бородатов.

— А вы? — любопытствовал Витя.

— Я-то по делу: получил вот наряд на ночные работы, — хлопнул себя по карману шинели Бородатов. — А вот вас здесь раньше видеть не приходилось.

— Я... тоже по делу, — несколько замялся Витя.

— А именно?

— Хочу поступить сюда волонтером...

— А-а, вон что, — несколько не удивился Бородатов.

— Мне бы к адмиралу Истомину надо... Как вы думаете, можно это?

— Отчего же вам, юнкеру, нельзя? — сделал ударение на «юнкеру» Бородатов, у которого, между прочим, как заметил Витя, не только борода плохо росла, но и усы были реденькие, жиденькие и какого-то

совсем неопределенного цвета.

— Можно, вы думаете?.. А как же именно? — оживился Витя.

— Да ведь адмирал — не иголка, найти его ничего не стоит, благо тут же он и живет в башне... Впрочем, я его как будто сейчас даже и видел где-то здесь... — И Бородатов обернулся, поглядел по сторонам и добавил: — Да вот же он — своей персоной? Смотрите вон на ту траншею и держите направление туда... Желаю удачи!

Откланялся, все еще щеголяя незабытой офицерской выправкой, и пошел дальше, а Витя, поймав глазами Истомина, боялся потерять его из виду и быстро зашагал, не разбирая, где суше.

Витя никак не думал, что Истомин так же точно, как и Нахимов, не расстался еще со своею флотской парадной формой; на нем, будто он был на судне, плотно сидел длинный наваченный на груди сюртук с густыми контр-адмиральскими эполетами и черные брюки. Уже один этот привычный, мирного времени, костюм адмирала заставил Витю сразу же оробеть, но Истомин, заметив это, спросил сам:

— Что вы пришли мне доложить? — и поднял ожидающе почти безволосые брови.

— Ваше превосходительство, я прошу разрешить мне зачислиться волонтером во вверенное вам отделение, — без запинки, как рапорт на вахте, проговорил Витя, так как фразу эту он приготовил заранее.

— Волонтером? Вот что! И на какую же должность? — чуть улыбнулся Истомин.

— Прислугой к орудию, ваше превосходительство! — весь напрягаясь, чтобы стоять, как в строю, ответил Витя.

— Ваша фамилия?

— Роты юнкеров Зарубин, ваше превосходительство.

— А-а! Сын капитан-лейтенанта Зарубина? — качнул головой Истомин.

— Впрочем, он ведь теперь уже в отставке... Как его здоровье? Ходит? Вите показалось, что лучше будет, если сказать, что отец не только ходит, но даже хорошо ходит; он так и сказал и ждал того самого вопроса, какой уже слышал от Жерве, чтобы на него ответить, как он придумал, но Истомин спросил:

— А разве у вашего отца есть еще сыновья, кроме вас?

Этот вопрос ошеломил Витю, потому что он слышал не один раз

раньше о «единственных» сыновьях, и снова у него предательски горячи стали уши. У него мелькнула было мысль ответить: «Есть еще один моложе меня»... — но он берег ложь для более важного. Он ответил вопросом, который вдруг вытолкнуло чувство, похожее на отчаяние:

— Ваше превосходительство! Ведь если бы я был уже мичманом, а не юнкером, то, хотя бы я был и единственный сын, разве я сидел бы дома в такое время?

— Гм... да... Вы что-то очень молоды, юнкер Зарубин, — улыбнулся Истомин. — Сколько вам лет?

— Почти шестнадцать, — быстро ответил Витя, прибавив себе шесть-семь месяцев.

— Маловато! Да, между прочим, это ваше личное желание зачислиться волонтером? — спросил, наконец, Истомин, и Витя ответил, не отводя глаз:

— Я говорил об этом отцу, и он дал свое согласие, ваше превосходительство... Только чтобы я служил под вашим начальством! Эта последняя фраза придумалась как-то сама собою, но Витя заметил, — или ему это только так показалось, — что она навернулась как нельзя более кстати.

— Что же, под моим начальством? Ведь я взять на себя ответственность за вашу жизнь не могу, — сказал уже совсем добродушно Истомин. — Это желание ваше похвально, конечно, но требует оформления... Заходите завтра в это время, как-нибудь оформим...

Витя был так взволнован своей удачей у Истомина, что даже хотел зайти похвастать ею на батарею Жерве, но беспокоило предстоящее объяснение с отцом. Вдруг он ни за что не согласится отпустить его и даже напишет об этом самому Истомину, — что тогда?

Между тем все, что он здесь видел теперь, стало казаться ему совсем уже близким к пониманию, — вот-вот еще шаг, и он скажет с гордостью: «Наш Корниловский бастион».

Бывшая дня за четыре до того буря, наделавшая так много бед флоту союзников, оторвала на одной стороне домика Зарубиных железо желобов и отливов, сбросила с места десятка три черепицы, а также

вывернула водосточную трубу из рогачиков, и Витя сам прилаживал запасную черепицу вместо разбитой, для чего нужно было очень осторожно и только в определенных местах наступать на оставшуюся целой, чтобы не раздавить и ее, а при настилке железа отливов и желобов надо было умеючи прибить клямары, чтобы железо держалось прочно.

Витя трудился над этим почти целый день, но зато, когда все пригнал, поправил, закончил, дом, в котором он родился и вырос, стал ему как-то еще роднее, чем был прежде. Так же точно, проходя уже через горжу Корниловского бастиона и оглянувшись назад, Витя с минуту задержался на месте, разглядывая брустверы, траншеи и руины башни на кургане.

Когда он шел сюда, ему бросилось в глаза плачевное состояние этой башни, крыша которой была совершенно снесена неприятельскими снарядами и не восстанавливалась почему-то. Уходя же теперь, он понимал, что башня эта служила только прекрасной мишенью для артиллерии врагов, что простые невысокие насыпи и даже мешки с землей гораздо удобнее и надежнее, чем это сооружение.

Оглядывая же потом горжу, он видел, что эта расположенная в виде какой-то геометрической фигуры насыпь и ров за нею замыкают бастион с тыла, делают его как бы отдельной крепостью в ряду других подобных же крепостей-бастионов, соединенных батареями, как та, которой командует Жерве.

В первый раз именно теперь он, привыкший с детства к виду огромных и несокрушимых с виду зданий фортов, представил себе вполне эту цепь оборонительных сооружений в земле, все то, чего совсем не было еще там недавно, и это так переполнило его верою в могущество родного города, что кулаки его сами собою сжались до белизны пальцев и грудь долго не хотела выпускать воздуха, расширившего ее.

III

В этом приподнятом настроении уже не прежний, рейдовый, а новый, бастионный, Витя шел к Малой Офицерской улице, совсем не замечая при этом, как и куда он ставит ноги, и даже ставит ли их вообще куда-

нибудь, или просто проносится над неровностями поверхности земли, как это довольно часто бывало с ним во сне.

Так как дня три уже не было такой бомбардировки, которая выгоняла семью Зарубиных в адмиралтейство или на Северную, то все были дома, и Витя, раздевшись, тут же начал говорить с отцом о том, что его переполняло до краев: оно должно было вылиться немедленно, — носить его молча было бы невыносимо, и единственный, кто мог бы его понять, как нужно, был отец.

— Папа, — начал он возбужденно, — тебе поклон от лейтенанта Жерве!

— А-а! Жерве! Вот как!.. Ты где же, где его видел? — оживился отец, который в это время в своем небольшом кабинете сидел за столом, перебирая какие-то бумаги.

— Где я его видел? — несколько запнулся Витя. — Я просто ходил посмотреть батарею, какой он командует... Ходил с одним своим товарищем.

— Та-ак! — отодвинул от себя бумаги отец. — С то... с товарищем? Ну, это знаешь ли... С каким товарищем?

Видя, что отец нахмурился и насторожился, Витя отвернулся к окну и ответил, насколько мог безразлично:

— Да это Боброву туда нужно было, к Жерве, а я просто с ним вместе пошел.

— Ишь ты, а?.. Боб-ров! Два сапога, да, два сапога па-ра! — протянул отец. — А ни Боброву твоему, ни... ни тебе тем более... тем более тебе!.. со-овсем незачем шляться туда... на батареи эти!

Отец волновался, почему и говорил с трудом, но Витя счел все-таки возможным улыбнуться краешками губ, отзываясь:

— Ну, все-таки отчего же не посмотреть, когда никакой стрельбы нет? Он понимал, что здесь в своем доме, среди своих каких-то бумаг, отцом овладевают домашние мысли, он знал также и то, чем можно было выбить их из отца, и добавил:

— Там говорят, что идут к нам большие подкрепления, и скоро союзникам дадут еще один Инкерман попробовать, только уж этот будет какой следует.

Средство подействовало сразу, — Зарубин посмотрел на сына

примиренно: чтобы принести домой весть об идущих больших подкреплениях, пожалуй, стоило пойти на батарею. Однако...

— Откуда же он-то... он... Жерве-то откуда же это слышал?.. И что же, что же, что идут эти... подкрепления? Должны идти, да, должны, а как же? Вот и... и идут они... А только вопрос... придут когда? Вот что! Это главное... И сколько именно их придет, вот в чем дело... А Жерве там как, Жерве?

— Ничего. Такой, какой был всегда, такой и есть. Веселый... Только ботфорты надел, как пехота! — стараясь держаться независимей, сказал Витя.

— Бот-фор-ты! Вот как!

Эти ботфорты как будто даже несколько развеселили капитана. Он подкачнул головой и прищурился, очевидно стараясь представить себе Жерве в ботфортах, а Витя продолжал между тем:

— И маме кланялся, и Варе тоже...

— А-а! Вот видишь, вот! Стало быть, не забывает нас. Ну что же, спасибо ему... — просветлел отец, и, заметив это, Витя сказал, как будто бы кстати:

— Адмирала Истомина я тоже там видел, папа.

— Истомина?.. А-а! Вот как! — совершенно оживился отец, даже, пожалуй, несколько преобразился. — Что же он... он как? Или ты его... издали... издали, конечно, заметил?

— Я?.. Что ты, папа! Да я в двух шагах от него стоял! — слегка усмехнулся Витя — Он какой был, такой и есть, — и ботфорт не носит... А вот что он эполет своих не снимает, это уж, пожалуй, лишнее совсем, потому что у англичан, говорят, наводчики какие следует есть!

— Матросы, да! Матросы! — уверенно качнул головой Зарубин. — У нас — матросы, у них тоже... тоже матросы!

— Да, конечно, а то кто же? И если бы Корнилов на другой лошади тогда был, в него бы не стреляли, это уж теперь доказано, — сказал Витя. — Ну, ничего, пусть... При хорошей наводке и наши там тоже найдут кого надо! Все дело в наводке.

— Ну, а как же еще? А?.. Разумеется, да... Разумеется, в наводке... А что же он... Владимир Иванович... разве он тоже там... у Жерве, у

Жерве был? — разнообразно работая мускулами лица, чтобы помочь непослушному языку, однако с большим любопытством спросил капитан.

— Н-нет, он у себя там, на Малаховом... Там у него землянка такая, большая, вроде пещеры... Там вообще у всех такие пещеры, весь курган изрыли! — с восхищением махнул рукой Витя.

— А-а? Так ты, значит, все это там... там видел? На Малаховом? — уже как будто даже любясь теперь сыном, спросил капитан. — И Владимира Ивановича... его тоже... близко видел?.. Как же ты так?.. И не прогнал, а? Не прогнал он тебя оттуда?

— Ну, вот еще, «прогнал»! — усмехнулся Витя.

— А я бы... я бы прогнал, да!

— Я с ним и говорил даже, — вдруг решил подойти к самому главному Витя.

— Го-во-рил даже! Он?.. с то... с тобой?.. О чем это, о чем?

Кресло капитана было простое, с жестким сиденьем и на винте, и чтобы как следует, как можно лучше, не только услышать, но и разглядеть своего сына, говорившего там, на боевом Малаховом кургане, с самым главным его защитником — адмиралом Истоминым, Зарубин повернул кресло и оказался лицом к лицу с Витей, который ответил весело:

— Да вот о чем именно говорили мы с ним: прежде всего спросил он меня, конечно, как моя фамилия... А потом спросил, как твое здоровье.

— А-а! Здоровье мое?

— Да... Ходишь ты как, и вообще... Он даже обрадовался как будто, когда я сказал, кто мой отец.

— Ну, а как же... как же, да... Владимир Иванович... — совершенно просиял Зарубин. — «Три святителя» и его «Париж», ведь они... они рядом стояли... Рядом, да... во время боя... Ведь он у меня... он даже... в госпитале у меня был!.. Милый человек... Владимир Иванович!.. Милый человек! — И слеза навернулась от волнения на правый глаз капитана.

Этот момент и счел Витя самым удобным, чтобы сказать, наконец, то, чего не решался сказать раньше.

— Берет меня волонтером на Корниловский бастион! — как бы между прочим и глядя при этом через окно в сад, проговорил глуховато Витя.

— Во-лон-тером? — воззрился на него отец, смахивая слезу пальцем.

— Ка-ак так это... волон-тером?.. Он тебе... пред... предложил так... так?.. Поступить волон-тером?

— Все идут, папа! А как же иначе?.. Никому не идти? — подвинулся вплотную к столу Витя, придумав, по его мнению, то, что должно было сразу же убедить отца и в то же время обойти стороной прямой ответ на его вопрос.

Он видел, как отец забарабанил пальцами по столу, что было в нем признаком большого волнения и в то же время желания сдержать это как-нибудь в умеренных границах.

— Идут! Да!.. Должны идти!.. Все!.. Только не ребята!.. Не дорос, не дорос ты! Не дорос!.. — выкрикивал он, выкатывая глаза.

— И помоложе меня есть там, папа! — выкрикнул и Витя. — Совсем ребятишки есть! Десять лет ему, а он уже наводчик!

— Десять лет? А? Кто сказал?.. А? А?

— Видел! Сам видел такого! Своими глазами, папа! — не в полный голос, но уже в полную силу правдивости сказал Витя, и отец увидел эту правдивость в его глазах и поверил, но пробормотал пренебрежительно:

— Ну, чьи же они такие там... Если и есть, до... допустим... то чьи?

— Чьи бы то ни были, папа!.. Они — в отцовских бушлатах до земли — там, у орудий!..

Зарубин барабанил пальцами все быстрее, нервнее, сбивчивее... очень слышно потянул раза два носом и сказал вдруг:

— Я пони... понимаю! Ты ходил к Владимиру... Иванычу... проситься... в службу!.. А отца... отца-мать... ты спросил, а?

Витя почувствовал, что решающая минута — вот она, и, глядя прямо в середину вскинутых на него укоризненных, гневных, закруглившихся глаз отца, ответил насколько мог спокойно:

— Напротив, папа, я даже сам сказал Владимиру Ивановичу, что ты мне разрешил уже это — обратиться к нему.

— Ты?.. Так... так ему... сказал?.. Как же ты... смел это?

И Зарубин взялся за подлокотники кресла, чтобы подняться, и в то же

время подвигал к себе ногою отставленную, прислоненную к столу палку.

Однако Витя, переживавший во все время объяснения с отцом странное, но подмывающее чувство, как будто он тянется и тянется кверху, а плечи его становятся шире и шире, ответил отцу, неожиданно даже для себя самого, твердо:

— Я не думал, папа, что ты можешь мне этого не позволить!

— Как так... «не думал»? — медленно, но не сводя с него круглых глаз, опустил снова в кресло отец.

— Почему я этого не думал? Потому что ты... ты для меня — герой, папа! Нет, ты и не можешь мне не позволить, потому что... я тебя уважаю, папа!.. За то... за то...

Он не договорил. Это было и не нужно. Это было понятно и без слов... Но он не мог бы договорить, потому что задрожали губы, мокрыми стали глаза...

Он бросился к отцу, обнял его и прильнул к его небритой колющей щеке.

Так обнявшись и в слезах застала их обоих вошедшая в то время в кабинет Варя.

IV

Варя испуганно вскрикнула и спросила скороговоркой, без пауз:

— Что такое? О чем вы плачете? Кто убит? — но в то же время тою странной стремительностью мысли, которой обладают почему-то женщины, перескакивая сразу через длинные цепи мужских силлогизмов, поняла, что именно произошло в кабинете.

Между молодыми Зарубиными, сестрою и братом, была, конечно, та большая дружба, которая свойственна членам хороших и ладно сбитых семейств. Но Витя никогда не говорил сестре о том, что хотел бы записаться куда-нибудь добровольцем на бастион.

Он не то чтобы таил это глубоко про себя, нет, он и сам-то пришел к этому решению только там, на батарее Жерве. И Варя не думала раньше о нем, как о возможном волонтере. Напротив, она думала, что придется всем им выбраться все-таки куда-нибудь из Севастополя, — скорее всего в Николаев, куда выехало много семейств моряков, так

как это был портовый город.

Нечего и говорить, что она не слыхала никогда такой догадки о Вите и от матери, и все-таки она поняла мгновенно, что было объяснение между Витей и отцом в таком именно духе: отец задумал уехать из Севастополя и вывезти их всех, для чего и приводит в порядок теперь свои бумаги и разные документы, которые необходимы им будут там, на новом месте, а Витя сказал отцу, что никуда не поедет, что хочет остаться здесь.

И если мокры у них у обоих лица, хотя оба они молчат, то это значило для Вари, что были уже сказаны все слова и что отец не мог не согласиться с Витей: уехать отсюда хотя и нужно, однако не всякому же бросать Севастополь, — это низко; нужно уехать папе, потому что он раненый, в отставке; нужно уехать Оле, потому что она маленькая; нужно уехать маме, потому что как же без нее будут жить папа и Оля? Но Витя и... и она сама...

Витя между тем выпрямился, быстро, стыдливо вытер глаза и щеки; отец обернулся к ней, Варе, качнул засверкавшим сединами подбородком в сторону Вити и пробормотал невнятно;

— Вот... по... полюбуйся-ка... на брат-ца!.. Каков, а?..

— Ты что это такое наделал? — вполне уверенная уже в своей догадке, но по привычке старшей из детей сразу нашедшая в своем голосе строгие нотки, обратилась к брату Варя.

Витя только улыбнулся ей, но ничего не ответил.

— Вот я сейчас позову маму! — угрожающе поглядела на него Варя и быстро вышла, а не больше как через минуту в кабинете появилась Капитолина Петровна, с засученными, как была на кухне, рукавами и с прилипшими кое-где к полным сильным рукам кусками белого теста, а вместе с нею Оля, испуганная с кошкой в корзиночке.

С виду кошка Оли была самая обыкновенная кошка — пестрая, бело-дымчатая, но у нее оказались совершенно исключительные способности. Прежде всего она любила есть свежие капустные листья, а это совсем неподходящая еда для кошек, затем она питала своим молоком и воспитала маленького ежонка, найденного Витей летом на Приморском бульваре. Ежонок этот доставлял ей много горьких минут, так как сколько она ни пыталась его облизывать, только колола себе

язык, фыркала, вскакивала в страхе и убегала, но возвращалась снова: все-таки материнская нежность побеждала. Ежик вырос, но никуда не уходил, так и остался при доме, жил под крылечком около кухни.

— Это что ты такое накуролесил, что отца до слез довел? — накинулась на Витю мать.

— Ничего я не куролесил, мама, — степенно сказал Витя, пожав плечами.

— Поступил вот... на бастион... на Малахов... к Истомину... — с усилием проговорил капитан, так как на него перевела непонимающие, но возбужденные глаза Капитолина Петровна; Витя же радостно отметил про себя: «поступил», а не «поступает», значит кончено — решено!

— Куда ты лезешь, дурак сумасшедший! — закричала мать. — Куда полез, ни слова мне не сказавши? Чтобы я тебя хоронила, дурака, потому что ухлопают ведь! Ухлопают!

И она схватила Витю за плечи и дернула его от окна внутрь кабинета, точно вознамерилась сейчас же оттащить его как можно дальше от всех этих Малаховых, Истоминных и бастионов.

— Нельзя было, мама, иначе: все идут, — слегка улыбнулся Витя и этой горячности матери и ее непривычным для слуха, слишком энергичным словам.

— Ка-ак так все идут?.. Требуют, что ли, всех? — сразу опустила руки мать и снова обернулась к мужу: — Говори! Требуют?

Затаясь, ждал Витя, что скажет отец, но он ничего не сказал. Он только развел, насколько мог, руками и вздернул брови, — жест, который целиком вмещался в слова: «Теперь уж ничего не поделаешь! Придется примириться с этим...»

Однако примириться мать не хотела.

— Я сама поеду к начальнику гарнизона! — крикнула она и ударила руку об руку, чтобы счистить с них налипшее тесто. — Я скажу ему, что ребят таких брать нельзя! Нет! Не смеют они!.. И что мы и уезжать уж собираемся, потому что скоро тут на одну пенсию и не прожить будет! Франзоля уж до семи копеек серебром на базаре дошла! Баранина шесть копеек фунт, да и той не достанешь! Когда это было,

чтобы такие цены? А дальше в лес — больше дров, франзоля и до пятиалтынного дойти может, чем тогда жить?.. Хотя и в своем доме даже могли бы жить, так одними стенами все-таки жить не будешь... А тут еще и ребят тащат! Я им скажу это!

Маленькая Оля долго глядела во все глаза и на мать, и на отца, сидевшего молча, и на брата, который отвернулся к окну, глядела, силясь понять, что случилось, и, поняв наконец, что Витю берут, чтобы его «ухлопать» на Малаховом кургане, безутешно зарыдала вдруг, а пестрая кошка, которая принимала всегда живейшее участие в семейных сценах своих хозяев, поднялась встревоженно из корзинки и начала гладить ее участливо по щеке лапкой и подлизывать слезы на ее подбородке.

Варя же не обратила внимания на слезы младшей сестренки. Она думала в это время — и не о Вите, а о себе самой.

У

Накануне она встретила совершенно случайно на Морской улице Дебу, их бывшего квартиранта, и между ними завязался значительный для нее разговор, хотя он и начался шуткой с ее стороны.

Она спросила:

— Когда же вас, Ипполит Матвеевич, произведут в прапорщики, наконец? Имейте в виду, что я все жду и надеюсь!

— Жду и надеюсь и я, — так же шутливо ответил он, — что шестого декабря, в день царских именин, или, на худой конец, на Новый год выйдет мне производство, Варенька, и мы с вами прочитаем об этом событии в «Инвалиде».

— Ну, значит, скоро! Вот и отлично! Хотя за что же вас и производить? Ведь ваш рабочий батальон в сражениях не бывает, кажется?

— Сражаться ему не полагается, правда, но убивают нашего брата во время работ достаточно... Так что не думайте, что это — совсем безопасно.

— Ну, мало ли кого убивают! Даже и прохожих на улицах... Не производить же их всех за это в офицеры!

— Не только на улицах, и в доме, на постели, могут убить... Был же ведь случай с одним капитан-лейтенантом: всю бомбардировку в

октябре пробыл на бастионе и уцелел, даже контужен не был, а недавно вздумал ночевать на своей квартире, и вдруг ракета угодила в дом — пробила крышу и потолок и в спальне его разорвалась... Третьего дня его хоронили.

Дебу назвал и фамилию этого капитан-лейтенанта, Варя слышала эту фамилию. Это заставило ее сразу оставить шуточный тон. Она болезненно поморщилась и спросила:

— Когда же, как вы думаете, уберутся от нас союзники, а? Неужели они останутся у нас зимовать?

— Все незваные гости убираются только тогда, когда их прогоняют, — сказал Дебу, — а если не хватает силенки их выгнать, то они и остаются, сколько хотят.

Глаза Дебу не улыбались при этом, но Варе не понравилось выражение, с каким было это сказано им. И она сказала обиженно:

— Однако, говорят, что с их стороны к нам каждую ночь порядочно бежит народу... Значит, им у себя не так и сладко?

— Перебежчики эти ведь больше турки, — пренебрежительно отозвался

Дебу.

— Ну, есть, говорят, и англичане, даже и французы, прошу меня извинить!

— В чем же именно вы просите извинения, Варенька?

— Все-таки, как бы там ни было, но ведь вам, как французу, это может быть неприятно,

— Так, Варенька, вы можете дойти и до того, что спросите, почему я до сих пор не перебежал к французам, — грустно сказал Дебу.

— Зачем же мне спрашивать такое?.. Хотя вот Витя откуда-то узнал, что и от нас перебегают к союзникам, только одни поляки, впрочем.

— Ну, а вы, то есть все семейство ваше, так и не желаете перебежать отсюда куда-нибудь на север? — спросил Дебу, отчасти чтобы вывести из затруднения Варю.

— Что? Дезертировать?.. Как какие-то там поляки делают? — вдруг оскорбленно поглядела на Дебу Варя.

Она не могла бы себе объяснить и теперь, что такое тогда в словах Дебу ее оскорбило так остро, но именно тут она вдруг представила

Хлапонину, которая не только никуда не бежала из Севастополя, но даже сама пошла служить в госпиталь и выдержала там четырехдневную бомбардировку, помогая раненым, как могла... И не она ли раньше ездила на Алму, когда там было сражение?

Конечно, Варя знала, что даже и мать ее склонялась уже теперь, испытав всякие мытарства, к решению уехать, но в каких-то тайниках ее самой незаметно совершалась работа неясных еще мыслей, может быть даже больше чувств, чем мыслей, что уезжать отсюда молодым и здоровым неудобно как-то, неловко почему-то, даже стыдно, пожалуй... низко.

— А что делают с дезертирами? — спросила Варя Дебу, который не успел еще найти, как ответить ей на раньше заданный вопрос.

— Расстреливают, кажется, — не понял ее Дебу.

— Как так расстреливают? Та сторона, на которую они бегут, их расстреливает?

— Ну, что вы! Зачем же! Там им, конечно, бывают очень рады...

— Ага! Вот видите: рады! Почему же?

— Да потому, во-первых, что они приносят сведения очень нужные, а затем благодаря перебежчикам этим противник ведь становится слабее численно: сегодня перебежит десять, завтра пятнадцать, глядь — целой роты у противника и нет!

— Вот видите! Роты и нет! — повторила Варя торжествующе, и Дебу еще не понимал, откуда взялся у нее этот торжествующий над ним тон, как Варя уже спешила с ним проститься, и потому, что шла она по делу, и потому, что хотела теперь остаться одна со своим решением, которое в ней созревало.

Конечно, разговор с Дебу продолжался в ее разгоряченном мозгу и тогда, когда она шла по делу дальше, и потом, когда возвращалась домой: это бывает часто, когда люди возбуждены. При этих отнюдь не праздных, впрочем, упражнениях мысли она будто бы спрашивала Дебу и не без насмешки: «Странно в самом деле, почему это вы до сих пор не дезертировали к своим соплеменникам!» А он будто бы отвечал кротко: «Но ведь родился я все-таки в Петербурге, а не в Париже, где у меня нет ни родных, ни друзей, как нет их и во всей Франции. Арестантские роты я уж отбыл давно, а солдатчина моя кончается.

Если только меня не убьют, то я ведь буду произведен, значит, получу снова все права и могу ехать куда угодно и делать что хочу...»

После этих слов, сказанных кротко, она простила ему даже и то, что он француз. Она и раньше не могла долго сердиться на Дебу. Он был, конечно, не так уж и молод и не то чтобы красив, но он слишком занимал ее мысли.

Она представляла и то, что его, хотя и не в сражении, а на работах, но ранят точно так же, как капитана Хлапони́на... Кто придет тогда навестить его в госпитале? Она... Придет и скажет: «Вы ранены ведь французами, не так ли? Или англичанами, союзниками французов, не все ли равно?.. Но родина ваша все-таки Петербург, а не Париж, — Россия, и вы ее защищали, как могли... И друзья ваши здесь, в России, в Севастополе, а не там, на Рудольфовой горе!»

И весь день после этой встречи она была во власти не совсем для нее ясных, напротив, очень взбудораженных представлений, среди которых нет-нет да и сверкнет вдруг только что прокравшееся в ее мысли маленькое хотя, но очень значительное словцо: «Низко!»

А вечером в тот же день всего на несколько минут заходила к ним старая, в седых буклях и очках жена одного бездетного чиновника адмиралтейства, грудастая, густоголосая...

— Представьте вы себе, Капитолина Петровна, родная, — говорила она, — каждый день я хожу теперь в морской госпиталь раненых матросиков чаем поить? Ну, что же поделаешь, когда я никаких этих там перевязок и даже на раны не могу смотреть, — дурно мне становится, — а чай я, конечно, весь свой век еще с девчонок у отца наливала гостям и только спрашивала: «Вам пожиже или покрепче? Не боитесь цвет лица испортить?» И вот что я вам скажу, родная, ведь они там, — администрация-то ихняя, — оказалось, чаем-то поить раненых и не у-ме-ют! Операцию там и перевязки — это, конечно, тоже дело нужное, а чай-то — ведь это же для нас, для русских людей, тот же воздух! А у них это все и безалаберно-то, и грязно, и посуды-то на всех не хватает, да и бьют ее то и знай, — вот я и занялась там чаем!..

Она посидела минут десять всего, спрашивала, нет ли лишних стаканов и блюдецек, и взяла с дюжину стаканов и сколько-то чашек,

а сама оставила в Варе хлопотливость и блистанье очков, добродушие и круглоту двух подбородков, низкие ноты густого голоса и густой запах госпиталя, пропитавший ее шерстяное платье.

Так как говорилось уже дня за два до этого о возможном отъезде, то Варя тогда же принялась было откладывать в особую корзиночку с замком то свое, чем она не так давно еще дорожила, и сама удивилась тому, какое это все было детское, ничтожное, мизерное и как далека она была теперь от всех этих альбомов со стишками, писем любимых подруг по пансиону, в котором училась, рисунков для вышивания и выжигания, которые когда-то приводили ее в восхищение, вырезок из журналов мод...

Утром в этот день, когда вернулся с Корниловского бастиона Витя, Варя принесла все свои реликвии на кухню и бросила их около плиты на подтопку. А когда кричала мать по поводу Вити, что она пойдет к начальнику гарнизона жаловаться на то, что забирают на службу детей, решение Вари было уже готово.

На другой день уже не мать, убежденная все-таки хотя и косноязычным, но очень твердо почему-то ставшим на сторону Вити отцом, а она, Варя, пошла к генералу Моллеру, начальнику гарнизона, и без особых задержек и затруднений получила разрешение на уход за ранеными на первом перевязочном пункте.

Глава пятая. Две вылазки

I

Генерал Данненберг, которому Меншиков в донесении царю приписал всю неудачу Инкерманского боя, был отозван в Петербург, а на его место назначили по просьбе того же Меншикова командира третьего корпуса, барона Остен-Сакена Дмитрия Ерофеевича, что дало повод Меншикову состричь: «Ну вот, и подкрепили нас ерофеичем!»

В противоположность Меншикову, которого одесский Златоуст, архиепископ Иннокентий, после того как тот не принял его в лагере под Бахчисараем и не позволил везти в Севастополь икону Касперовской божией матери, ославил атеистом, Остен-Сакен был

богомолен анекдотически, до умопомрачения и вполне был убежден, что именно восемнадцатилетний прапорщик артиллерии Щеголев отстоял Одессу от покушений на нее союзного флота, а отстоял потому, что был юноша весьма верующий и что он сам, барон Остен-Сакен, начальник гарнизона Одессы, тоже человек образцово верующий, а предстателем их перед богом и молитвенником за Одессу был и остается совсем уже святой жизни архипастырь Иннокентий.

Если Меншиков шутки ради давал Николаю совет сделать Клейнмихеля митрополитом Петербургским и Ладожским на место умершего Серафима, то Сакен как будто рожден был именно митрополитом и только по злостной шутке судьбы вышел в генералы-от-кавалерии, пройдя боевую школу во всех войнах против Наполеона, затем на Кавказе в армиях Эристова и Паскевича.

Паскевич сделал его в турецкую войну 1828–1829 годов своим начальником штаба, но это значило только, что никакой самостоятельной мысли он проявлять не смел. Зато он, будучи уже тогда генерал-майором, торжественно благословлял и дарил отеческим поцелуем каждого из начальников мелких кавалерийских отрядов, отправляющихся в рекогносцировку, будучи твердо убежден в том, что это священнодействие принесет им удачу. Когда же он напросился сам на командование несколькими эскадронами, чтобы добить разбитых при Миллидюзее и бегущих турок армии Гахи-паши, то действовал при этом до того осторожно, что упустил их, за это попал под следствие, и Паскевич стряхнул его с Кавказа на службу в России. Однако боевой опыт помог Сакену одержать победу над польским генералом Гелгудом в 1831 году. Потом он участвовал в Венгерской кампании снова под командой Паскевича... Так, с годами, постепенно продвигался он в чинах и обвешивался крестами, звездами и лентами. Теперь ему шел уже шестьдесят пятый год, но он происходил из рода весьма долговечных остзейцев, хотя при своих узких плечах и длинном росте он не казался особенно прочным.

В начальники штаба к нему был назначен флигель-адъютант князь Васильчиков, родной брат секунданта Лермонтова в дуэли с Мартыновым. Это был еще молодой полковник, человек энергичный и в силу своих лет, и по натуре, и потому, что хотел оправдать доверие

к себе царя, хорошо его знавшего. Лет за десять до Крымской войны, во время поездки Николая за границу, Васильчиков был назначен сопровождать его и, как это водилось, был награжден и нидерландскими, и австрийскими, и сардинскими, и сицилийскими орденами; военных же подвигов за ним не числилось, хотя он и был одно время прикомандирован для этой цели к командующему Кавказской армией генералу Граббе: он не был рубакой; весь его душевный строй был более штатский, чем военный.

Он появился в Севастополе гораздо раньше Сакена; Сакен же в тяжелом тарантасе, медленно-медленно, шагом и с частыми остановками тянувшимся по грязи, ехал вместе со своим адъютантом Гротгусом и только к утру 24 ноября миновал почтовую станцию Дуванкой, последнюю перед Севастополем.

Старики часто бывают болтливы, и Сакен был именно из таких, весьма болтливых; теперь же, когда он был совершенно свободен от всяких служебных дел, как бы совершая некий вояж, он совсем заговорил кроткого Гротгуса, слушавшего его с необходимым терпением,

За длинную дорогу, от Одессы до Симферополя, отдавшись пленительному потоку воспоминаний, он рассказывал своему адъютанту и то, что уже говорил ему неоднократно за своим обеденным столом раньше, однако при этом спрашивал:

— Мне кажется, вы от меня этого еще не слыхали, не правда ли?

И Гротгус, бывший в чине ротмистра, но надеявшийся в Севастополе выскочить по крайней мере в полковники, неизменно отзывался:

— Никак нет, не приходилось от вас слышать... Может быть, рассказывали кому-нибудь другому, я же слышу это в первый раз.

— Вот видите! А это, знаете ли, примечательно в высочайшей степени, что я вам сейчас рассказал!.. Но в непосредственной связи с этим находится еще и такой эпизод...

И Сакен вспоминал, что когда-то этак лет сорок пять назад, сказал или сделал граф Остерман, у которого он был тогда адъютантом, или как при его, Сакена, непосредственном участии истреблен был арьергард французов под Вязьмою, или кое-что о Милорадовиче, у которого он тоже был адъютантом, числясь в лейб-гвардии Литовском полку, или о Ермолове, или о князе Баратове, или о князе

Андронникове...

Но иногда в рассказы эти, давно уже набившие оскомину Гротгусу, вплеталось действительно кое-что новое.

Подъезжая к Симферополю, Сакен начал развивать перед своим адъютантом внезапно осенивший его план обратиться в святейший синод с покорнейшей просьбой оповестить иеромонахов в монастырях, что православное воинство, защищающее Севастополь от мусульман и их друзей, нуждается в духовной помощи и просвещении, почему чем больше иеромонахов явится в осажденный город, тем крепче будет дух его защитников.

— Приходские священники необходимы своим приходам, — объяснял он Гротгусу, — между тем как иеромонахов бывает по нескольку, знаете ли, человек в каждом даже не особенно видном монастыре, а в лаврах их десятки, да, буквально десятки!.. А что нужно нашему русскому солдату? Причастить его перед смертью — вот что для него главное... Смерть без причастия, это у него, знаете ли, называется напрасная смерть, — вот как это называется. И когда он отправляется в бой, он любит, чтобы отслужили молебен. И это будет первый мой шаг, когда я приму начальство над гарнизоном: я обращусь тогда в святейший синод!

Дорога между Симферополем и Севастополем все-таки очень круто вернула мысли Остен-Сакена от небесного к земному. По этой дороге, точнее, по полному бездорожью, в несколько рядов туда и обратно двигались с огромнейшим трудом, выкатывая глаза и раздувая ноздри, лошади, мокрые волы и верблюды, которых звонко колотили кнутовищами по ребрам. Увязающие по ступицы подводы тащили фураж, орудия, порох, снаряды, раненых, обывателей, и люди около них и на них орала, ругались, стонали, не обращая никакого внимания на нового начальника севастопольского гарнизона, командира 4-го корпуса...

На почтовых станциях нельзя было согреться: они не отапливались, их нечем было отапливать... На иных не было даже и станционных смотрителей... На дворах их валялись, раскорячив ноги, издохшие от бескормицы лошади, которых некому было вывезти подальше... В ямщицкой на одной станции, куда в поисках людей задумал заглянуть

сам Сакен, он увидел трупы трех, уже босоногих ямщиков, торчавшие под лавками, а на лавках умирали двое, пока еще проявлявшие некоторые признаки жизни.

— Что это тут такое, а? — испуганно обратился Сакен к своему адъютанту. — Что это, я вас спрашиваю, а?.. Чума? Какая была в Карсе?..

Гротгус сам пятился назад в ужасе, но бормотал при этом успокоительно:

— Не пятнистая ли это горячка, ваше высокопревосходительство? О чуме ведь, если бы появилась, было бы слышно...

— Ну да, ну да, и князь Меншиков должен бы был распорядиться насчет карантина, — несколько приходил в себя Сакен. — Да, скорее всего это — тифус.

На этой станции совсем не пришлось выпрягать измученных коней, только дали им отдохнуть и сунули им по куску солдатского хлеба с крупной солью.

Чем ближе подвигались к Севастополю, тем больше расстраивалось воображение барона. Под Бахчисараем он внимательно всматривался в вечернее небо и вдруг вскрикнул:

— Но ведь это же монгольфьеры{38}! Смотрите скорее сюда!

Гротгус поднял голову вверх.

— Коршуны, кажется, — сказал он.

— Монгольфьеры, я вам говорю! — упорствовал Сакен.

— По-видимому, это орлы, — догадывался Гротгус. — Они, несомненно, велики для коршунов.

— Орлы?.. Вы полагаете, что... Я и сам замечаю какие-то зубцы у них по сторонам... Крылья, а? Но, может быть, это монгольфьеры новейшего какого-нибудь образца, а?..

— Нет, это просто орлы, — решительно отверг догадку своего начальника адъютант.

— Однако, когда я участвовал в Венгерской кампании, — не успокаивался, хотя и опустил уже голову Сакен, — я это слышал и даже читал в подробностях, как австрийцы атаковали Венецию монгольфьерами... Я вам рассказывал это?

— В первый раз слышу, чтобы монгольфьеры годились для атаки! —

удивился вполне искренне Гротгус.

— Вот видите, сколько я могу еще рассказать вам нового для вас! — слегка даже торжествовал Сакен. — Да, была такая атака, была... это совсем недавно, стало быть, в сорок девятом году... Их, знаете ли, клеили из бумаги и доставляли в армию на подводах в сложенном виде... Ну, так десять или даже двадцать штук клали на подводу, — не помню уж, — ведь они легкие. На месте уж там их надували; как это делается, знаете? Их надувают над такими жаровнями... Я когда-то интересовался этим, но не очень помню это теперь... И вот сто штук примерно, — я не настаиваю на этом именно числе, или больше, или меньше, как пишут в купчих крепостях на землю, — сто или больше штук было доставлено... И, знаете ли, на каждый в гондолу садился человек, поднимался, знаете ли, на высоту над Венецией и... бросает вниз, снаряд, представьте! Были снаряды разрывные и были зажигательные, насколько я помню. Конечно, что могло загореться в таком городе, как Венеция? Суда в гавани могли загореться прежде всего, — и они сейчас же вышли из гавани в открытое море... Даже на площадь святого Марка попадали разрывные снаряды, насколько я помню!

— Можно себе представить, что тогда делалось в Венеции! — сказал Гротгус.

— Вот! Вот именно, — что делалось! Они вьются над головой, как вот эти орлы, и от них вниз летят бомбы! И, знаете ли, я боюсь, что это может случиться и здесь, в Севастополе! Ну, что им стоит, скажите, доставить сюда морем монгольфьеры, а?.. Клеить же их они могут и в Варне, например, — бумаги же у них много, — и вот...

Сакен закрыл глаза, вздохнул и покачал головой.

— Да, это было бы скверно, — согласился Гротгус. — Но, помните, писали в газетах о каких-то удушливых газах английского изобретения? Кажется, еще в сорок втором году изобретены они были...

— Да, да! И бомб с этими газами привезли союзникам в Крым целый транспорт!

— Однако мне писали, что бомбы эти теперь уже союзники не употребляют в дело. Они, эти бомбы, правда, оказались очень

зловонные, но, говорят, что зловоние все-таки людей не убивает...

— О-о! — поднял кверху палец Сакен. — Русскому солдату — что ему там какое-то это зло-воние! Гм... гм... Нашли чем удушить русского солдата! Но монгольфьеры — это, знаете ли, мой дорогой Гротгус, совсем другое дело...

От Дуванкоя уже вполне отчетливо было слышно пушечную пальбу из больших орудий, хотя и редкую. Когда же часа через три дотащился тарантас Сакена до Северной стороны, откуда развернулся величественный вид на Севастополь и бухту, перестрелка сделалась очень оживленной, и Сакен обратил внимание на белые клубы дыма от выстрелов в открытом море.

— Что это там? Посмотрите, Гротгус, у вас глаза острее моих! Похоже, как будто здесь происходит настоящий морской бой, а?..

— Явижу три парохода, но чьи они и куда палят, этого не пойму, — отозвался Гротгус.

— Нет, знаете ли, это... это меня необыкновенно занимает! — почти восхищенно раза два проговорил Сакен, не отрывая от моря своих сильно выпуклых раскосых глаз, редко поставленных на круглом, бритом, с небольшими рыжеватыми, опущенными вниз усами, свежем еще для его возраста лице.

Но это занимало в тот момент не только Сакена; за происходившим в море следил с живейшим участием весь Севастополь.

II

Русский Черноморский флот был так прочно, казалось бы, закупорен в бухте прежде всего стеною своих же собственных затопленных в сентябре судов, что интервенты просто сбросили его со счетов, как активную силу.

Он существовал, по их мнению, только как резерв для сухопутной линии обороны, давая туда и свои орудия и матросов из своих экипажей, точно так же, впрочем, как это было и во флоте союзников.

При канонаде иногда случалось так, что русские артиллеристы били прямой наводкой по амбразурам батарей противника, и не одно ядро при этом врывалось в жерла осадных орудий и взрывало их. Интервенты снимали, чтобы поставить на их место, орудия со своих

боевых судов, постепенно их разоружая, что же касается матросов с этих судов, то к концу ноября на иных батареях, как английских, так и французских, по десяти смен выбыло из строя: так велики были потери от огня севастопольцев.

Но велика была и уверенность адмиралов Гамелена и Лайонса, заменившего отозванного в Англию за бездеятельность Дондаса, в полной безвредности русского флота. На внешнем рейде, вне досягаемости самых дальнобойных орудий фортов, стоял только один винтовой пароход, на прочном якоре, в полной беспечности, почти в полусне, не дымил, не спускал шлюпок, вообще не показывал признаков жизни.

Назначение его было наблюдать за передвижением судов в бухтах, и, несомненно, на нем вели журнал этих наблюдений, но может же, наконец, и надоесть вид такого молчаливого стража.

Так надоел он Нахимову. В его распоряжении были два вполне исправных парохода — «Владимир» и «Херсонес», правда, колесные, а не винтовые, но под командою бравых и молодых капитанов — Бутакова и Руднева, матросы же на них своей удачной стрельбой оказали уже неоценимую услугу русской армии в день Инкерманской битвы.

«Мегера», железный пароход-наблюдатель, стояла против небольшой и мелководной Песочной бухты, несколько поодаль от нее, в большой по размерам Стрелецкой бухте, находились два других парохода интервентов, а дальше к востоку — в бухте Камышовой, была стоянка всего французского флота. К северу же от Севастополя, у устья Качи, несколько судов союзников занималось разгрузкой выброшенных здесь на берег во время бури кораблей и транспортов, охраняя их в то же время от покушения со стороны русских тыловых войск всею мощью своих пушек.

Такова была обстановка на море, когда Нахимов вызвал к себе старшего в чине из двух капитанов, Бутакова, и дал ему приказ атаковать намозолившего всем глаза стража.

Матросы на обоих пароходах сразу повеселели, чуть только услышали, что выходят в море, и, когда (это произошло в ясный и теплый полдень) один за другим любимцы гарнизона «Владимир» и

«Херсонес» вышли на открытый рейд и побежали по направлению к неприятельскому пароходу, глаза всех обратились на море, — до того это зрелище было неожиданно, смело и красиво.

На берегу Стрелецкой бухты по склону расположен был французский лагерь с несколькими полевыми батареями при нем. Энергичный Бутаков не захотел терять времени напрасно и приказал открыть на ходу пальбу по этому лагерю и по пришвартованным к берегу пароходам, а страж между тем понял, что ему угрожает опасность, вышел из своей спячки, стал разводить пары и проворно сниматься с якоря.

Эскадре, стоявшей в Камышовой бухте, он давал сигналы о помощи, отстреливаясь в то же время от приближавшегося «Владимира».

Скоро пальба стала общей и весьма оживленной: палили из полевых орудий, придвинутых к самому берегу, палили с двух пароходов, не решавшихся выходить из бухты, палил получивший способность двигаться и уходивший во всю силу разведенных паров страж, палили, наконец, и оба небольших, но смелых русских парохода.

Может быть, большой поспешностью, нервностью стрельбы со стороны интервентов объяснялось то, что ядра и бомбы их только «уходили пить», как говорили матросы, между тем как на одном из пришвартованных пароходов вырвался из-под палубы столб белого пара — знак того, что снарядом с «Херсонеса» был пробит на нем паровой котел.

Обстрел французского лагеря произвел в нем величайший переполох, но страж уходил из-под выстрелов «Владимира», пользуясь преимуществом хода. Напротив, боевые суда французов, стоявшие в Камышовой бухте, заслыша пальбу и приняв сигналы, поспешили на помощь, а от устья Качи в свою очередь двинулся большой пароход. Но, кроме них, находившихся в это время в движении в открытом море, два английских парохода, а за ним французский, на котором в трубу можно было различить вице-адмиральский флаг, переменили курс и стали приближаться к месту боя.

Так с трех сторон устремились суда интервентов на два бойких русских парохода. Улыбаясь в лихие усы, Бутаков дал сигнал к отступлению в Севастополь, и «Владимир» пошел в кильватер за

«Херсонесом».

Один большой быстроходный англичанин успел приблизиться к «Владимиру» на действительный выстрел. «Владимир» отстреливался от него из кормовых орудий. Наконец, первое и единственное неприятельское ядро ударило в фок-мачту, отбило часть мачты, перебило несколько снастей и ушло пить воду.

Пароходы вернулись в бухту, не потеряв ни одного человека. Нахимов объявил благодарность их экипажам и приказал выдать матросам по лишней чарке водки, не в зачет дневной порции.

III

Дня через два после приезда, приняв от Моллера и его начальника штаба полковника Попова все дела, Остен-Сакен объявил в приказе, что он вступил в должность начальника гарнизона крепости Севастополь.

При обычном в подобных случаях представлении ему высших чинов разных ведомств он был очень любезен со всеми, — это было в его натуре, — но особенное внимание оказал он герою Синопа. Конечно, он восторженно рассказал при этом Нахимову о том, как прямо с приезда удалось ему полюбоваться вылазкой двух пароходов.

— Положительно, знаете ли, они меня совершенно очаровали, точно бы это были две красавицы! — говорил он, склоняя голову набок, делая умильные глаза и прикладывая руку к сердцу. — Я за них, признаюсь вам откровенно, по-ба-и-вался, конечно, когда разглядел хорошенько опасность — опасность, какая им угрожала со всех сторон... И я, знаете ли, молился про себя втайне, чтобы ушли они благополучно... И так я был рад, когда увидел, что ушли и уже в полной безопасности! А когда я услышал, что даже потерь при этом никаких не понесли, то это уж, знаете ли... честь им и хвала! Будто они на прогулку ходили!

— Да, вот-с все-таки... Это подняло все-таки, я так думаю-с, настроение духа у войск, — по обыкновению запинаясь, но при этом пристально разглядывая и стараясь оценить нового начальника гарнизона, отвечал ему Нахимов. — Риску же тут было, признаться, мало-с... Команды на пароходах прекраснейшие, дело свое знают

отлично-с. Однако... должен я вам сказать, что за разрешением на вылазку эту обращаться я был обязан, конечно, к его светлости, главнокомандующему, и едва-едва он разрешил-с!.. А ведь без вылазки как же-с? Защищаться — это ведь и значит нападать, а отнюдь не ждать, когда на тебя нападут-с! Будь у нас винтовые пароходы и получше тех, какие имеются колесные, ведь мы бы имели в этой вылазке хороший успех... Теряем время-с, — перебил он сам себя резко. — Самое лучшее время для нападения мы теряем-с! Я докладывал об этом его светлости, но он на это только рукой машет, — вот как-с!.. А между тем-с теперь сезон штормов, теперь отнюдь не всякий транспорт союзников дойти по назначению может-с... Между тем что же изволил сказать мне его светлость? — горячо закончил Нахимов. — «Нельзя, говорит, наступать, если пехоту учили все время тому, что два патрона боевых должны хватить солдату на целый год для обучения стрельбе, а кавалерия наша не имела ни одной порядочной атаки со времен Полтавского боя!»

— Кавалерия?! — выпрямился вдруг очень воинственно Сакен. — А как же тогда дело под Прейсиш-Эйлау? А павлоградских гусар атака на французский кавалерийский полк... это было где же, позвольте? Это было под Франкфуртом, и командовал тогда павлоградцами майор Нечволодов... До трехсот человек тогда французов было изрублено, а человек двести взято в плен вместе с полковым командиром! А сколько было кавалерийских атак, когда из России Наполеона гнали?.. А все кавказские войны, — как же можно! Ведь эти войны — и при Котляревском, и при Ермолове, и при князе Паскевиче, тогда он был, впрочем, графом, и даже просто генерал Паскевич... кавалерийские войны были!.. А между тем... между тем его светлость, по вашим словам, утверждает, что... что совсем не было порядочных атак! Как же так, я вас спрашиваю?

Сакен показался Нахимову теперь как будто даже оскорбленным и за кавалерию и за себя. Он не знал, что Меншиков действительно несколько задел его, когда тот представлялся ему по приезде. И без того восторженного склада Сакен был, конечно, весьма возбужден тем, что он — в Севастополе, который ему высочайше доверен для защиты, и сказал, может быть и не совсем обдуманно, зато с большим

чувством:

— Эх, если бы одесского героя, Щеголева-прапорщика, сюда!.. Впрочем, он уж теперь и не прапорщик, а штабс-капитан и Георгия носит за свой подвиг...

— А еще лучше бы, — ехидно подхватил Меншиков, — прислать бы сюда игумена Соловецкого монастыря, как, бишь, его там зовут! Раз он от своего монастыря англичан отбил, то, разумеется, отбил бы союзников от Севастополя!

Теперь-то, познакомившись с огромным делом осады и обороны Севастополя, Сакен понимал уже, что высунулся с одесским героем не очень кстати, но все-таки замечание Меншикова казалось ему нетактичным.

— Кавалерия могла бы сослужить свою службу у нас во время Инкерманского сражения-с, — сказал Нахимов. — Я лично, конечно, мало понимаю в этом, но утверждают пехотные генералы, что если бы тогда кавалерия наша вся, — а ее было свыше семи тысяч!.. — если бы она двинулась на Балаклаву, то победа была бы наша... и полная-с! Но вот не вышло-с почему-то... И теперь ее у нас уже не имеется, перебросили к Евпатории, где ожидается десант новый, чтобы нас от Перекопа отрезать... Да фуража не достало для такого множества коней... Черная речка теперь непроходима-с... Мосты пробовали ставить — рвет их и уносит-с... Тройка фурштатская кашу Чоргунскому отряду везла с Инкерманской стороны, хотела вброд перейти, — куда тут! Унесло и тройку и кашу-с! Теперь уж упущено время для новой атаки с той стороны большими силами-с... Теперь только мелкие вылазки возможны-с... А для подобных вылазок ваших полномочий как начальника гарнизона вполне довольно-с. Им нельзя давать покоя, союзникам-с. Их надо тормозить и трепать, хотя бы и понемногу-с!

И Нахимов сделал правой рукой энергичный жест, как будто схватил кого-то за чуб и треплет... Сакен немедленно с ним согласился, и действительно первая при нем вылазка была назначена на следующий же день со стороны третьего бастиона.

И поздно вечером, часов в одиннадцать, перед тем как отряд охотников должен был выступить по направлению к французским

редутам, сам новый начальник гарнизона изъявил непреклонное желание благословить участников вылазки.

Высокий, но несколько хлипкий, светлоглазый и с русыми бакенбардами, несколько длиннее общепринятых, князь Васильчиков, со всею серьезностью доводов начальника штаба пытался было отговорить его, но не успел в этом. Напротив, ему пришлось сопровождать Сакена, так как он, приехавший в Севастополь гораздо раньше, — предполагалось так, — должен был знать дорогу к третьему бастиону. Вместе с ним сопровождали Сакена Гротгус и флигель-адъютант Ден.

Ночь, однако, была далеко не из светлых. Все ехали верхами, но почему-то лошадь под старым кавалерийским генералом все спотыкалась и даже однажды оступилась в какую-то непредвиденную канаву, едва не сбросив своего седока.

— Гм... Странно, — задумчиво сказал Сакен. — Туда ли мы едем, куда надо?

— Едем-то мы туда, но вот зачем именно едем — вопрос! — недовольно ответил Васильчиков. — Тем более что и опасно ведь... Вот это летит на нас сверху яркое — это совсем не метеор, а ракета, ваше высокопревосходительство!

— Да, это ракета, — согласился Сакен, — но она упадет сзади нас, я думаю...

— А другая может попасть и в нас... Нет, мы напрасно едем.

— Это направо от нас что за стена, не знаете? — спрашивал Сакен.

— Это? Направо?.. Это — сад, а стены тут никакой нет.

— Сад?.. Есть еще, значит, и сады в этом Севастополе, — философски заметил Сакен, и снова оступилась его лошадь, почти упала на передние ноги.

— Может быть, вы уговорите его не ехать дальше, — прошептал на ухо Дену Васильчиков. — Ведь у него куриная слепота, он ничего не видит теперь и зря дергает лошадь.

Ден, знакомый еще по Одессе и с Сакеном и с его женою, Анной Ивановной, которую тот любил без памяти, решился на последнее средство.

— Если вы поедете туда, на бастион, где так опасно, — обратился

торжественно к Сакену Ден, — и если с вами случится, не дай и сохрани бог, несчастье, что я скажу Анне Ивановне, когда она спросит, почему я вас не отговорил?

Эта длинная фраза, сказанная торжественным тоном в глубокой тьме, а главное, упоминание об Анне Ивановне привели к желанному исходу вылазку

Сакена.

— Ах, Анна Ивановна, да, да... Вы правы, мой друг! Я чуть было не сделал большую глупость! — с чувством отозвался Дену Сакен, ощупью нашел его руку, чтобы пожать ее крепко, и повернул своего коня, который шел назад, уже не оступаясь.

На третий бастион послан был как представитель своего начальника только Гротгус в сопровождении двух полевых жандармов.

IV

Подполковник Ден, один из многочисленных флигель-адъютантов Николая, был послан в Севастополь вскоре после Алминского сражения и остался в свите Меншикова, как очи и уши царя. Этих очей и ушей очень не любил Меншиков и при каждом появлении нового флигель-адъютанта болезненно морщился, трагически вытягивал: «Заче-е-ем он?» — и старался найти ему какую-нибудь командировку внутрь Крыма, подальше от Севастополя. Он знал уже, что каждый доклад подобного посланца царя о виденном в Севастополе вызывал новые и новые приказы Николая, как надобно действовать ему, главнокомандующему, между тем как сам он, — так ему казалось, — гораздо лучше, чем царь из своей Гатчины, понимал создавшуюся на театре войны обстановку и действовал, напрягая все силы.

Эта уверенность в безошибочности своих личных действий роднила его с Николаем.

Года за четыре до начала Крымской войны отец Дена, генерал-инженер, осматривал сухопутные укрепления Севастополя и вошел к Николаю с докладом об их совершенно непоправимой слабости.

— Что же ты хотел бы там еще видеть? — спросил его Николай.

— Я хотел бы видеть Севастополь настоящей крепостью, то есть не

морскую только, но и сухопутной, — ответил генерал-инженер. — Мне кажется, что окрестности Севастополя будто нарочно созданы природой так, чтобы их хотя бы несколько укрепили, а потом уж были бы спокойны за судьбу города.

— И где же именно, думаешь ты, надо провести линию этих укреплений? — иронически спросил царь.

— В район крепости, ваше величество, я непременно ввел бы и Инкерман, и Федюхины высоты, и Сапун-гору — такие естественно крепкие позиции... Там, на их восточных склонах, расположил бы я линию передовых фортов, а из Севастополя провел бы к ним шоссейные дороги для удобства сообщения с ними. Затем вторую линию фортов я устроил бы на таких более близких к городу высотах, как Зеленая гора, Рудольфова гора...

Николай перебил его, рассмеявшись:

— И против кого же это, против крымских татар, что ли, ты хочешь сооружать все эти форты?.. Напрасная трата денег: татары покорны и спокойны. А в случае чего, для них вполне достаточно того, что имеется в Севастополе...

— Я меньше всего думаю о татарах, ваше величество... Я даже совсем не думаю о них, — сказал Ден-отец. — Но не так давно мне случилось прочитать записки французского генерала Мормона еще от тридцатых годов. Он предсказывает, что если начнется война между Францией и Англией с одной стороны и Россией — с другой, то ареной будет Севастополь, а затем и весь

Крым.

— Охота же тебе придавать значение глупым пророчествам разных мормонов! — уже с оттенком досады в голосе возразил Николай и этим кончил разговор о возможном укреплении Севастополя с суши, которое могло бы предотвратить Крымскую войну, или значительно ее отсрочить, или дать ей совершенно иной облик.

Поскупился ли Николай на средства для обширных укреплений, не хотел ли давать понять западным державам, что допускает мысль о возможности нападения с их стороны, или действительно и непоколебимо был уверен, что никто не осмелится на Россию напасть именно в этом пункте?

Скорее всего последнее. Он просто недооценивал крупнейшего торгового флота Англии и Франции, как транспортного средства для переброски большого десанта, а малые, — тысяч на двадцать, на тридцать, — конечно, не были бы страшны для севастопольского гарнизона. Мысль о том, что не одна тысяча торговых судов может участвовать в доставке осадных орудий и вообще всего, что необходимо для осады черноморской твердыни, просто не укладывалась в голове Николая. Десантные отряды русских войск, — однажды в Константинополь и несколько раз на Кавказ, — перевозились обыкновенно, по его приказу, на боевых кораблях. Только такой порядок вещей представлялся ему возможным и со стороны Франции и Англии, если бы вдруг, паче чаяния, вздумалось им затеять с ним войну.

Он был и остался консервативен и здесь, несмотря на то, что всякие новости в военном деле должны бы были, кажется, найти прямой доступ в сферу его мыслей. Виктория после его визита в Англию в 1844 году писала бельгийскому королю Леопольду: «Николай не очень умен и занят всецело только политикой и военными вопросами». И, однако, действительно отдавая военным вопросам все свое время, недалёковидный Николай, при тупой самонадеянности своей, оставил Севастополь совершенно беззащитным с южной стороны. И если гарнизон Севастополя под руководством Корнилова начал наспех строить бастионы, то это была уже не первая и не вторая даже, а третья, последняя, линия фортов в самой непосредственной близости от города и всех жизненных центров крепости и порта, что совершенно противоречило веками выработанной практике защиты крепостей, но отнести дальше линию бастионов не было уже возможности.

Между тем интервенты обкладывали Севастополь хотя и с одной только стороны, но соблюдая при этом все правила осадной войны. На сближение с бастионами русских они подвигались быстро, руководимые опытным французским военным инженером Бизо.

Зигзаги их апрошей^{39}, сколько бы ни задерживал работу над ними твердый каменистый грунт, шли неуклонно вперед, а в ложементы^{40} их, параллельные линиям русской обороны, залегали

стрелки, борьба с которыми делала вылазки неизбежными, как бы ни были по трофеям ничтожны их результаты.

Без этих вылазок обходилась редкая ночь, тем более что и сидевшие в передовых своих траншеях французы и англичане, — чаще, впрочем, первые, чем вторые, — подымали по ночам ложные тревоги. Они не выходили при этом из траншей, они только делали вид, что идут на штурм, кричали «ура» после усиленной пальбы. Это «ура» подхватывалось, перекатывалось из траншеи в траншею и подымало на ноги даже пехотные прикрытия на русских бастионах, так как рискованно все-таки было оставаться спокойным при таких воинственных криках.

Зато вылазки с русской стороны после подобных упражнений интервентов бывали особенно удачны. Англичан чаще всего заставляли мирно спать, иногда даже в стороне от составленных в козлы ружей; французы же гораздо лучше несли сторожевую службу, чем наемники английских капиталистов, представлявшие свой поход в Россию чем-то вроде карательной экспедиции в Ост-Индии, стремительной, молниеносной, неотразимой, после которой наставал продолжительный период приятного ничегонеделания за шиллинг в день на всем готовом.

V

Первая вылазка при Остен-Сакене, раз только не удалось ему по причине темноты добраться до бастиона и благословить ее участников, ничем особенным не отличалась от тех, какие выполнялись и при Моллере.

Бывали вылазки совсем малыми командами при одном только офицере, но бывало и так, что на вылазку ходила целая рота охотников, сборная от разных частей. Эта вылазка в конце ноября была именно такого рода; в ней участвовали команды по несколько десятков человек в каждой: от двух пехотных полков и от экипажей флота. Командовать вылазкой был назначен, как часто случалось это и раньше, лейтенант Бирюлев.

Никогда люди не были так суеверны, как во время боевых действий. Смерть реет тогда повсюду и вырывает из рядов свои жертвы то здесь,

то там — по каким законам? Человеческий мозг устроен так, что непременно ищет законности и в случайном; однако как было бы объяснить, почему, например, храбрец лейтенант Троицкий, под ураганным огнем флота интервентов пробравшийся 5 октября на батарею № 10 и под тем же огнем, среди падавших роем около него бомб и ядер, вернувшийся к Нахимову с докладом о положении батареи, уцелел тогда и сам и не потерял ни одного из доверившихся ему пяти человек матросов, а через несколько дней после этой ужасной канонады погиб от совершенно случайной штуцерной пули в первой по времени вылазке.

Но так же трудно было понять, почему удачно сходили именно вот Бирюлеву все вылазки, в которых он участвовал. Однако матросы заметили эту особую удачливость лейтенанта и с ним, — главное, под его общей командой, — шли на вылазки гораздо охотнее, чем с кем-либо другим из своих офицеров, точно там, где был Бирюлев, успех был заранее обеспечен.

Бывают такие исключительные любимцы жизни, которых не могут не любить окружающие. Бирюлев был и красив собою, и ловок, и не способен теряться в минуту опасности, умел увлечь за собою и вовремя отозвать своих охотников, знал, когда бросить в толпу матросов острое словцо, способное заставить их забыть про опасность, когда влить предельную строгость в слова команды.

Словом, он был что называется прекрасным командиром роты в бою, и, пожалуй, больше всего именно этим объяснялась его таинственная удачливость в вылазках.

В середине ноября, когда стрелки, лежавшие в неприятельских ложементях, большей частью зуавы, стали слишком заметно вредить своими выстрелами с недалеких дистанций по амбразурам и по каждой голове, неосторожно выставлявшейся над бруствером, пришлось в защиту от них устроить наскоро свои ложементы шагах в двадцати от неприятельских и посылать в них своих стрелков. Они не назначались, они вызывались охотниками сами. Сначала это были пластуны, потом матросы и пехотинцы. Французы своих стрелков в ложементях называли *enfants perdus* или *infernaux*{41} — сорви-головами, головорезами, чертями, — русские же охотники никаких особых

названий не получили. Они знали только, что половина из них, одержавших в ложементх свой срок, не дождется смены и не вернетса назад, поэтому, отправляясь на свой опасный пост, усердно молились перед образом, висевшим обыкновенно на каждом бастионе. Ложементы представляли собой ряд мелких, только лечь, ямок, в которых голова стрелка едва прикрывалась выкопанной саперной лопаткой землей, и над бедовой головой каждого охотника то и дело пели штуцерные пули. Малейшая неосторожность — и пуля впивалась в голову или пробивала грудь около ключицы. В каждой ямке лежал только один охотник, и действовать ему приходилось на свой страх и риск, к чему никто не приучал в мирное время русского солдата. Какое бы ни проявлялось в это время геройство, оно оставалось совершенно безвестным, какая бы ни проявлялась тем или иным из охотников личная храбрость, она проявлялась только наедине с собой. И все-таки на место убитых или тяжело раненных шли ежедневно в ложементы новые и новые охотники: недостатка в храбрецах не было. Тем более не могло его быть около такого удалого командира, каким оказался Бирюлев. И первым из этих храбрецов был матрос Кошка. На батарее капитан-лейтенанта Перекомского, куда попал Кошка в начале осады, известно было о нем только то, что он любил выпить, а под хорошую закуску сколько угодно, но никто и не подозревал в этом неказистом с виду матросе такого удальца, каким он проявил себя вдруг, когда убили в одной из первых вылазок бывшего рядом с ним его товарища, а на другой день его тело враги выставили с наружной стороны бруствера, подперев, чтобы держалось стоя. Потемнел Кошка, когда разглядел тело старинного товарища, выставленное точно на позор.

— Дозвольте сходить его выручить; ваше всокбродь! — обратился он к Перекомскому.

Тот удивился, — не понял даже.

— Как это так — сходить выручить? С ума сошел, что ли? Того убили в деле, а тебе захотелось, чтоб тебя ухлопали попусту?!

— Не ухлопают авось, ваше всокбродь! Дозвольте сходить — ведь глум над хорошим матросом производят...

— Он уже не матрос теперь, а бездыханное тело: какой же для

бездыханного может быть глум?.. Впрочем, я доложу, пожалуй, начальнику отделения. Если он разрешит, то это уж будет его дело, а я считаю такой риск совершенно лишним.

Однако начальник 3-го отделения оборонительной линии, контр-адмирал Панфилов, совершенно неожиданно для Перекомского посмотрел на это иначе. Он согласился с Кошкой, что глумление над трупом павшего бойца надобно прекратить, только спросил Кошку, как же именно думает он выкрасть труп.

— Так что подползу до него ночью, а потом тем же ходом с ним обратно, ваше превосходительство...

Кошке казалось, что адмирал только время проводит, спрашивая о том, что и без вопросов вполне ясно и понятно, но адмирал сказал:

— Ночью ты можешь с принятого направления сбиться и совсем не туда попасть.

— Есть «не туда попасть», ваше превосходительство, а только я полагаю так уж, чтоб ближе к свету ползти начать...

— Тогда тебя разглядят и подстрелят, как зайца!

— Я, ваше превосходительство, хочу мешок грязный что ни на есть на шинель надеть, чтоб от земли не различили, а кроме прочего, и казенной амуниции чтоб порчи не произвесть...

— Мешок?.. Ну, если хочешь быть ты Кошкой в мешке, — улыбнулся Панфилов, — тогда валяй, ползи.

— Есть «валяй, ползи», ваше превосходительство! — радостно отозвался Кошка и повернулся налево кругом.

Он сделал так, как решил: напялил на себя грязный мешок и, дождавшись конца ночи, сначала пошел, пригнувшись, потом пополз.

Но батарея против батареи Перекомского была английская, англичане же нигде не придвинулись к русским так близко, как французы, — довольно далеко пришлось ползти Кошке, рассвет же начался непредвиденно быстро, так как совершенно чистое оказалось в это утро небо на востоке. Кошка видел труп товарища своего — цель его действий, но разглядел также не дальше как в двадцати шагах от него серую фигуру часового около входа в траншею и понял, что ползти вперед уже нельзя.

Однако возвращаться назад с пустыми руками казалось еще более

невозможным. Он огляделся и заметил в стороне остаток каменной стенки, — была ли тут раньше садовая ограда, или стояло какое строение, — он подполз к этим нескольким камням и приник к земле.

Ружья с собою он не взял, так как обе руки должны были быть свободными, чтобы тащить тело; хлеба тоже не взял, потому что думал вернуться утром. А между тем развернулся ясный день, началась обычная перестрелка... Кошка приник за камнями, в которые звучно стучались иногда свои же русские пули, и не было никогда более длинного дня за всю его жизнь и большего простора для мрачных мыслей.

Утром справлялся у Перекомского Панфилов, сам зайдя к нему на батарею, — вернулся ли Кошка; Перекомский с сознанием правоты своих соображений ответил, что он, конечно, погиб совершенно зря, что нечего было и думать, чтобы явно сумасбродная затея его удалась.

Панфилов же, досадуя внутренне на себя за то, что разрешил Кошке эту затею, проговорил смущенно:

— Жаль малого, разумеется, но что же делать: ведь и допускать явного глумления над трупами наших молодцов тоже нельзя... Побуждения у него были хорошие, и осудить их я не мог.

Труп матроса продолжал, однако, торчать на прежнем месте весь этот день, и всем уже, не только Кошке, стало казаться возмутительным такое издевательство над павшим.

Но вечером, когда как следует стемнело, раздалась вдруг весьма оживленная и мало понятная по своим причинам и целям ружейная пальба со стороны англичан, и вдруг на батарее появился усталый, запыхавшийся, но довольный Кошка, притащивший на спине тело товарища.

Оказалось, по его рассказу, что он дождался, когда у англичан в траншеях началась смена людей, тогда-то и пополз он к трупу, подставил под него спину, прижал к себе его руки и проворно побежал к своей батарее. Он рассчитывал на то, что занятые сменой англичане не обратят на него внимания, и действительно успел пробежать полдороги, когда в него начали стрелять. Но тут уже его

ноша послужила ему надежным прикрытием, приняв в себя пули, которые иначе были бы смертельны для Кошки.

Панфилов представил его за отвагу к Георгию.

В другой раз вздумалось Кошке непременно поймать красивую белую верховую лошадь, которая вырвалась почему-то из английского лагеря оседланная, может быть сбросившая с себя седока, обогнула Зеленую гору и остановилась как раз посредине между батареей Перекомского и батареей англичан, поворачивая точеную тонкую голову на гибкой шее то в сторону своих, то в сторону русских.

— Эх, лошадка! Вот это так красота! — восхищался Кошка и обратился к командиру батареи: — Дозвольте коня этого на abordаж взять!

— Конь-то стоящий — это правда, — сказал Перекомский, — и я бы не прочь тебе это позволить; да ведь англичане не позволяют.

— Дозволят, ваше всокбродь! Я как будто к ним дезертиром буду бежать, а по мне чтобы наши холостыми зарядами стреляли, — вот и вполне может выйти дело!

Глаза у Кошки так и горели: казалось, и не разреши ему даже, он все-таки побежит за лошадью, — да и лошадь была бы дорогим призом.

Перекомский вспомнил историю с трупом матроса и махнул рукой в знак согласия, приказав тут же открыть по Кошке пальбу холостыми.

Кошка же бросился к лошади со всех ног.

Англичане были сбиты с толку поднявшейся по нем частой пальбой: ясно было для них, что кто-то перебегает к ним из русской батареи; они даже сняли шапки и махали ими приветственно. Понятно им было и то, что дезертир направляется к лошади, чтобы вскочить на нее и мчаться к ним: четыре ноги английского скакуна, конечно, куда надежнее своих двух.

И Кошка добежал беспрепятственно до белой лошади, точно только его и поджидавшей, вскочил на нее и пустился на ней обратно. Конечно, английский скакун проделал этот обратный для Кошки путь гораздо быстрее, чем даже могли сообразить англичане, что такое происходит перед их глазами; они открыли стрельбу с большим опозданием: Кошка уже успел ворваться в укрепление.

Он ходил обыкновенно во все вылазки, и его щадили пули, штыки, сабли врагов. Сам же он часто приносил на себе раненых англичан

или французов или два-три штуцера их. Когда же вылазок не было и когда ночи были темные, бывало, подбирался он к английским траншеям один и непременно притаскивал оттуда штуцер — вещь ценную в обиходе русского солдата. Однажды, когда добыть штуцера никак не удалось, он притащил попавшиеся под руки носилки, справедливо полагая, что и носилки пригодятся. Главною же целью этих одиночных вылазок Кошки было поднять пальбу и кутерьму в стане союзников, которая обыкновенно, открывшись по нем, Кошке, перекидывалась по всей линии осаждавших, заставляя их изводить попусту множество зарядов. Кошка же, добравшись к своим со своей добычей, ухмылялся бедово и говорил:

— Вот как я их распатронил, чертей!.. Неужто это и в самделе вся их братия по мне одному так старается?.. Чудное это дело, война! Один человек, значит, может всех союзников осюзить!

Иногда он притаскивал одеяла, которые накидывали на себя поверх плащей англичане наподобие пледов, но самой ценной его добычей были все-таки штуцеры.

И во время вылазок большими ли, малыми ли партиями всем хотелось набрать у противника как можно больше штуцеров, которые, кстати сказать, всячески утаивались от высшего начальства, а оставлялись в той части, какая их забрала, был ли это пластунский батальон, пехотный полк или флотский экипаж, хотя все и знали предписание — сдавать добытые с боя штуцеры для распределения их по усмотрению самого начальника гарнизона.

Так велика была у солдат, казаков, матросов досада на то, что их гладкоствольные ружья никуда не годились по сравнению с дальнобойными штуцерами, причинявшими им гораздо больше ущерба, чем все орудия союзников.

Правда, к этому времени Баумгартен, герой Четати, пришел к мысли переливать русские круглые пули в конические, по образцу пуль Минье, то есть с ушками и стерженьками. Такие пули даже при гладком стволе ружья могли лететь, как оказалось, вдвое дальше, чем круглые, но все-таки шестьсот шагов было далеко не то, что полторы тысячи, а кроме того, переливку пуль для всей армии было не так легка и просто наладить, как для одного Тобольского полка, в котором

ввел это Баумгартен.

VI

Бирюлев не мог, конечно, знать солдат Охотского и Волынского полков, которые в этот раз шли с ним на вылазку: раньше были у него в командах охотники других полков, но своих матросов он знал.

Кроме Кошки, неизменно во все вылазки с ним ходил спокойный и рассудительный пожилой уже матрос Игнат Шевченко, широкогрудый человек большой физической силы, которую, как иные силачи, почему-то стеснялся показывать в мирной обстановке. Только по тому, как его нагружали ранеными пленными или штуцерами, когда возвращались назад, можно было судить, что у него за безотказная крепость мышц. Матросы звали его «воронежским битюгом», — есть такая порода лошадей-тяжеловозов. В штыковом бою, какой бывал обыкновенно в траншеях интервентов при вылазке, он действовал, как таран, — за ним шли другие. Раза четыре он натыкался сам на штыки англичан и французов, но раны были мелкие, легкие, и после перевязки он снова появлялся в строю и снова шел в охотники на вылазки.

При этом само собой повелось как-то так, что он будто бы взял на себя совершенно непрошено роль какого-то дядьки при молодом, горячем лейтенанте. Он даже говорил ему ласково-ворчливо, когда подбирались они к неприятельским ложементам:

— Идите себе опозаду, ваше благородие! Нехай уж мы сами передом пойдем, а вы только за порядком глядите.

Бирюлев видел, что ворчит старый матрос дружески — заботясь о нем, и на такие замечания, конечно, не обижался. Он любил этого «битюга», который однажды самолично приволок с вылазки вполне исправную мортиру не крупного калибра. И когда в густых сумерках он принимал команду матросов, то прежде всего спросил: «Есть Шевченко?» — «Есть, ваше благородие!» — отозвался в пяти шагах от незнакомый грудной голос, и этого было достаточно лейтенанту, чтобы почувствовать себя перед новым ночным делом, как всегда, уверенно и спокойно.

Но рядом с Шевченко были тут и другие, испытанные в лихих

вылазках матросы. Был унтер-офицер Рыбаков, известный тем, что захватил однажды в плен английского полковника, за что должен был получить крест; был другой, унтер-офицер Кузменков, староватый уже и сильно лысый со лба, но стремительный и находчивый в деле; это он ходил с лейтенантом Троицким выбивать французов из их окопов и все не мог себе простить, как это случилось, что он оставил тогда тело своего начальника в неприятельской траншее. Был матрос Елисеев — шутник и балагур, который не способен был, кажется, не сыпать шутками и во время штыковой схватки. Был Болотников, который соперничал с Кошкой по части разных военных хитростей и выдумок, цель которых была озадачить противника, чтобы тут же воспользоваться этим. Он был ловко скроенный малый, лихо, с заломом на правый бок носивший свою бескозырку...

Кроме матросов и солдат, которых в общем было двести пятьдесят человек, в эту вылазку шло и восемьдесят рабочих с лопатами, которыми должны они были повернуть в сторону врага его ложементы против третьего бастиона, а что ложементы эти будут отбиты, в этом, конечно, никто не сомневался.

Начались уже осенние заморозки; ночь ожидалась холодная, но зато землю затянуло, не стало сильно надоевшей всем грязи; шаги людей были нетрудные и неслышные.

Однако для вылазки все-таки было рано, — это знал по опыту Бирюлев. Должна была после полуночи взойти ущербная луна, а при ее свете, хотя бы и сквозь тучи, кругом обложившие небо, можно гораздо лучше провести вылазку, чем в темноте, хотя местность перед бастионом и была достаточно знакома.

Местность эту видели каждый день, так как собирались команды охотников и рабочих на батарее Перекомского, где была землянка Бирюлева. Матросы были тоже с этой батареи, как Кошка, Шевченко, Рыбаков, Болотников, или с третьего бастиона, а охотцы и волынцы из прикрытия этой батареи.

Волынцами командовал юный прапорщик Семенский, охотцами, которых было вдвое больше, — поручик Токарев, но ни тот, ни другой ни разу до этого в вылазки не ходили. Бирюлев прошел вдоль шеренг проверить — все ли в порядке у людей, довольно ли патронов, у всех

ли рабочих есть кирки и лопаты, сколько заготовлено носилок для раненых... Сказал солдатам, что полагалось говорить перед делом: какие именно ложементы приказано начальством занять в эту ночь, какой взвод должен в них залечь потом и что делать; как рабочие должны переделать ложементы, чтобы смотрели они в сторону неприятеля, чтобы в них для ружей были бойницы, чтобы вполне укрывали они стрелков, — и закончил, как обычно принято заканчивать все подобные обращения к солдатам:

— Держать строй, ребята! Локоть к локтю, плечо к плечу! Иначе перебьют, как перепелок. Смотри!.. А если я буду убит, слушать команду поручика Токарева. А если с его благородием, поручиком Токаревым, что случится, так что уж не в силах он будет командовать, то его замещает прапорщик Семенский...

В небе было темно, вблизи расплывались очертания даже знакомых лиц, а шагах в двадцати совсем уж нельзя было ничего различить: такое освещение для вылазки не подходило, поэтому Бирюлев добавил:

— Пока не взойдет месяц, стой себе, ребята, вольно; у кого есть тютюн, кури, кто не выспался днем, приткнись где-нибудь и спи... Спишь — меньше грешишь, а встанешь — свежее будешь... Шуму лишнего не делай, огня неприятелю не показывай... Когда приказано будет строиться, живо стройся!

Бирюлев, разрешая солдатам поспать перед вылазкой, сам думал только о сне, так как всю предыдущую ночь пришлось ему простоять на батарее, а днем заснуть тоже не удалось. Он забрался в свою землянку, прилег там одетый, как был, и заснул сразу и крепко.

Гротгус добрался до третьего бастиона как раз в то время, когда Бирюлев спал, и, по новости дела, очень был этим озадачен, так что уж самому адмиралу Панфилову пришлось объяснять адъютанту Сакена, что Бирюлев свое дело знает и удобного для вылазки времени не проспит.

Бирюлев же, ложась спать, приказал Шевченко разбудить его часа через два, когда, по его расчету, должна была подняться луна.

Луна поднялась, наконец, хотя и ущербленная, но огромная, и тучи сдвинулись к противоположной от нее стороне горизонта.

Шевченко растолкал вестового лейтенанта, и с трудом удалось им вдвоем добудиться мертвым сном спавшего Бирюлева.

Но когда он вышел из землянки, то зажмурил глаза от света: столько лилось этого света от тупо уставившейся в землю однобокой луны, что белые амуничные ремни, перекрещенные на богатырской груди Шевченко, сияли, как днем, искрились штыки солдат и бляхи их поясов, и девичьи глаза юного Семенского горели будто огнем вдохновения.

— Вот досада какая! — потягиваясь, сказал Бирюлев. — Куда же ты вымел все тучи, Шевченко? Ведь теперь мы попали из огня в полымя!

— Ночь еще долгая, ваше благородие, — утешил его Шевченко. — Може, еще и захмарит.

— Хорошо, как захмарит, а если нет?

Он вынул свои часы, заводившиеся без ключика; было около двух. Ждать еще было, пожалуй, непростительно, идти теперь же было нельзя. Впрочем, на луну надвигалось тонкое белесое облако...

Бирюлев приказал командам собраться и построиться, и минут через десять все снова стояли в шеренгах, так что Гротгус мог, наконец, передать, что начальник гарнизона благословляет всех и желает полной удачи во славу русского оружия.

Однако и после этих торжественных слов Бирюлев все-таки не решался вести свою роту, и Панфилов с ним вполне согласился.

Но вот через полчаса, не меньше, к тому тонкому белесому облачку, которое проскользнуло над луною, потянулись другие, погуще; блики на штыках и бляхах померкли, поручик Токарев, передернув от заползающего под шинель холодка плечами, сказал Бирюлеву:

— А знаете, кажется, даже вот-вот снежок пойдет.

— Если и в самом деле, было бы как нельзя лучше, — повеселел Бирюлев и, когда действительно закружились снежинки, скомандовал вполголоса: — На молитву! Шапки долой!

Сняли фуражки, перекрестились три раза...

— На-а-кройсь!

Потом еще две-три обычных, но необычно отозвавшихся у всех в сердцах команды, и люди пошли во взводной колонне из укрепления в поле.

Все старались идти отнюдь не так, как их учили ходить в мирное время, звонко отбивая шаг, а как можно легче и неслышной ступая, но часовые, лежавшие в секрете впереди неприятельских ложементов, заметили темную движущуюся на них массу. Это были английские ложементы; можно было надеяться, что часовые там спят, однако вышло иначе. Один за другим раздались три гулких выстрела... Потом сигнальная ракета взвилась и рассыпалась красными огоньками в небе, за ней другая... И вот по всей линии противника началась оживленная пальба.

Панфилов, который стоял с Гротгусом, выжидая, как пойдет вылазка, сказал недовольно:

— Вот видите, как иногда бывает!.. Неудача! Завидели, проклятые... Не дали нашим и пятидесяти шагов отойти.

— И что же придется им сделать в таком случае? — беспокоился Гротгус.

— Что?.. Просто надобно отозвать их назад, чтобы не перебили напрасно, — вот и все, что придется сделать.

И Панфилов действительно послал к Бирюлеву вдогонку ординарца унтер-офицера, правда не с приказом, а только с разрешением вернуться.

Ординарец добежал запыхавшись. Бирюлев остановил роту. Выслушал посланца адмирала. Понял, что от него теперь зависело, вести ли людей вперед, или назад. И стало как-то неловко поворачивать их обратно, командовать «налево кругом». Однако он знал, конечно, и то, что многих из них стережет уже там, впереди, смерть или увечье, поэтому он обратился вполголоса к передним:

— Назад или вперед идти, братцы?

— Вперед! — тут же ответил ему Кошка.

— Вот Кошка говорит, что лучше вперед, а вы как?

— Ночью все кошки серые! — отозвался весело Елисейев, а кто-то дальше, из рядов пехоты, подхватил:

— Все мы — кошки!

И потом пошло по рядам, как общий выдох:

— Все — кошки!

— Ну, раз все — кошки, значит, вперед! Так и передай его

превосходительству, — обратился Бирюлев к ординарцу.

Как раз в это время и снег пошел гуще и пальба затихла, только трубили в рожки горнисты в траншеях да кричали часовые.

— Вперед, ма-арш! — скомандовал Бирюлев.

Идти нужно было в сторону — не к англичанам, а к французам, которые гораздо энергичнее англичан придвигались к четвертому бастиону и вели к нему мины с явной целью его взорвать.

Рота Бирюлева шла уверенно и с подъемом, тем более что не было пока в ней никаких потерь, несмотря на пальбу.

Обогнули острый холмик, прозванный Сахарной головою; недалеко уж должны были, по расчетам бывалых в вылазках матросов, начаться французские ложементы на взгорье, однако оттрубили горнисты, откричали часовые, — настала какая-то подозрительная насторожившаяся тишина...

Но вот в тишине этой вдруг раздался резкий и громкий окрик:

— Qui vive?^{42}

Задние взводы замедлили было шаг, но передние быстро шли вперед за Бирюлевым, подтянулись и задние.

— Qui vive?

Рота шла.

— Qui vive? — встревоженно громко.

— Russes!^{43} — крикнул Бирюлев, и тут же вслед за этим: — Ура-а!

И кинулись со штыками наперевес на ложементы.

VII

Enfants perdus, сидевшие в ложементах, успели дать только один залп, торопливый, нестройный, от которого упало только трое охотцев. Их проворно с рук на руки передали в тыл на носилки, присланные Панфиловым с бастиона. Сквозь крутившийся снег было видно, как зуавы бежали, пригибаясь к земле, в траншеи.

Едва они добежали, оттуда поднялась пальба.

Нельзя было терять ни секунды. Бирюлев только крикнул: «Рабочие, сюда!» — только махнул рукою на ложементы саперному унтер-офицеру, а сам, почему-то, непроизвольно стараясь не касаться на бегу земли каблуками, побежал руководить боем дальше, к траншее,

куда, опередив его, подбегали уже матросы и солдаты.

Он думал именно этими словами: «руководить боем», хотя и знал уже по опыту, что, чуть только начнется свалка в траншее, руководить ею никак нельзя.

А свалка в траншее уже началась: одиночные выстрелы, крики на двух языках, хрипы, стоны, лязг железа о железо, треск, гул — и через три-четыре минуты кто из зуавов не успел своевременно выбраться из траншеи и бежать выше, в другую такую же, был заколот.

Но зуавы были ловкие и крепкие люди и яростно защищали свою жизнь и свой окоп. Только трое захвачены были здесь в плен: один раненый офицер и два солдата. Зато одним из первых погиб так жаждавший боевых подвигов юноша с девичьими глазами — прапорщик Семенский. Некрупный телом и тонкий, он был буквально поднят на штыки и брошен на вал окопа. Волинцы вынесли было его на линию отбитых окопов, где старательно и споро перебрасывали с места на место почти белую от известковых камней гулкую землю рабочие, но он недолго лежал тут живым. Рабочие сняли с ложементов и оттащили к сторонке восемнадцать тел заколотых зуавов; девятнадцатым невдалеке от них лег бывший прапорщик Семенский... Лунный свет ярок только вблизи, — вдали же он причудлив. Он способен очеловечить все кусты и все крупные камни кругом, особенно тогда, когда ошеломлен мозг внезапностью чужого нападения и своей оплошностью или неудачей.

Горнисты трубили тревогу, ракеты взвивались и лопались где-то в глубине французских позиций, точно напала на них не одна рота, а по крайней мере дивизия. Конечно, к передовым траншеям теперь спешили уже резервы.

Но пока подтягивались эти резервы, вторая траншея начала такую частую стрельбу, что поручик Токарев обеспокоенно подскочил к Бирюлеву:

— Прикажете унять их, Николай Алексеич? Несем потери!

— Ура-а! — крикнул во весь голос вместо ответа Бирюлев.

И тут же общее дружное «ура» и такой же страшный для сидящих в окопе стремительный дробный стук бегущих по твердой земле

нескольких сотен ног, и казалось, что через минуту-другую все будет кончено здесь, как и в первом окопе; но раздался пушечный выстрел, и картечь повалила сразу человек десять.

Остановить атаку, впрочем, не мог этот выстрел, — слишком яростен был разбег, — и другого выстрела не пришлось уже сделать артиллеристам: их смяли. Но свалка в этой траншее была ожесточеннее, чем в первой. Тут оказалось больше защитников, может быть успели подойти из других траншей, однако очистили и эту траншею; человек около двадцати отправили отсюда своих раненых в тыл, к носилкам, а с ними вместе еще двух подбитых французских офицеров и пятерых солдат.

Бирюлев замешкался было при отправке раненых, но Шевченко, все время державшийся вблизи его, дернул его за рукав шинели:

— Ваше благородие, глядите сюда, то не обходят ли нас французы?

Бирюлев поглядел вправо — действительно тянулась вниз какая-то плотная масса.

— Барабанщик! Где барабанщик? Бей отбой! — закричал он.

Ударил барабанщик, затрубил горнист... Рота спешно строилась во взводную колонну для отступления, и тут, на ходу, подобрался к Бирюлеву Рыбаков, чтобы сказать:

— Ваше благородие, Кошку ранили, а он сглупа сказываться раненым не хочет...

— Кошка ранен? — Это показалось почти сверхъестественным. — Где же он? Лежит?

— Идет, да ведь и кровь из него хлещет... Кровью изойти может.

— Чем ранен? Пулей?

— Штыком...

А тем временем траншея, только что очищенная, вновь, видимо, наполнилась набежавшими из тыла зуавами, и запели оттуда пули. Но отстреливаться было уже некогда, беспокоило то, что могут напасть на рабочих.

Миновали первую траншею. Стало яснее видно, что французов, затеявших обход, немного — не больше ста человек.

— А ну, братцы, наляжь! — крикнул Бирюлев. — Мы их в плен захватим!

Однако там заиграл трубач, и французы быстро повернули в сторону и исчезли: гнаться за ними совсем не входило в задачу вылазки. Главное, было перестроить ложементы. Работа же эта шла полным ходом.

— Кошка? Где Кошка? — вспомнил Бирюлев.

— Есть, ваше благородие! — отозвался Кошка.

— Ты что, ранен?

— Пустяка — запекается, — недовольно ответил Кошка.

— Куда же ранен?

— Просто сказать, чуть скользнуло вот сюда, в левый бок...

— Перевязаться надо!

— Есть, ваше благородие, «перевязаться»... Домой придем — перевяжут.

Между тем пули из траншеи, которую только что очистили, сыпались чаще и чаще, и Кузменков сказал Бирюлеву:

— Нейметса проклятым! Придется, кажись, пойти шугануть их подальше! Дозвольте, ваше благородие, я со взводом пойду!

— Взвода мало, братец... Идти, так всем.

И в третий раз повел в штыки Бирюлев всю роту.

Однако вторая траншея была занята немногими стрелками: можно было насчитать только человек пятнадцать, вскочивших на насыпь, чтобы встретить наступающих залпом и бежать в третий окоп.

Бирюлев с обнаженной саблей шел впереди роты и только что повернулся к ней лицом, чтобы, выждав момент, крикнуть «ура», как Шевченко, не спускавший глаз с тех, на насыпи, вырвался из ряда и метнулся вперед: он заметил, что большая часть ружей французов направлена на его командира. Он только успел выкрикнуть: «Ваше...» — как в одно и то же время раздались и залп зуавов и «ура» Бирюлева, подхваченное всеми... всеми, кроме Шевченко, который рухнул, пронизанный несколькими пулями...

Обернувшийся Бирюлев споткнулся о ноги убитого и упал на колени. Кругом его бежали в атаку, штыки наперевес, и билось в уши со всех сторон нестройное: «А-а-а...» Бирюлев припоминал этих зуавов на насыпи, и то, как метнулся вдруг вперед, крикнув «Ваше...», этот простодушный богатырь, державшийся с ним всегда, как дядька, и то,

как он почувствовал, когда кричал «ура», несколько тупых ударов в спину от шеи до поясицы, и понял, что Шевченко, чуть только увидел опасность, какая ему угрожала, кинулся его спасти своим могучим телом, и пули, предназначенные ему, принял своею грудью... И только пройдя насквозь через его грудь, эти пули, уже безвредные, шлепнулись в его спину, как мелкие камешки.

— Шевченко!.. Шевченко! Друг!.. — кричал Бирюлев, тормоша его круглое плечо, но глаза Шевченко уже закатились, тело вздрогнуло в последний раз и легло спокойно.

Заметив, что упал лейтенант, около него остался Болотников. Он тоже видел, что сделал Шевченко, и понял его, как понимал и тоску по нем лейтенанта; но он заметил, что рота пронеслась ураганом мимо второй траншеи в третью, и обеспокоился.

— Ваше благородие, а ваше благородие! — взял он за руку Бирюлева.
— Теперь уже не вернешь его, — воля божья... А наши уж в третью траншею прочесались, кабы их там не прищучили!

Бирюлев встал. Действительно, свалка гремела уже далеко. Он побежал вперед, как и прежде, на носках, бросая на бегу Болотникову:

— Не забудь, где Шевченко лежит!.. Потом заберем его!..

Смерть Шевченко его ожесточила. Он бежал отомстить за него французам. Но с зуавами, сидевшими в третьей траншее, все уже было кончено, пока добежал он. Оставалось только собирать своих во взводы и подбирать раненых, чтобы идти обратно.

И взводы уже построились, раненых вынесли, когда со стороны траншеи раздалась резкая команда:

— En avant!{44}

Обернулся Бирюлев: высокий офицер стоял на насыпи с пистолетами в обеих руках, но те, кому он командовал, не шли вперед, — их не было видно. Была ли это небольшая кучка, добежавшая из резерва, или один только этот офицер, бегством спасшийся из обреченной траншеи и теперь захотевший показать свою картинную храбрость, — осталось неизвестным. Он выстрелил из обоих пистолетов сразу, и нужно же было случиться так, что одна пуля попала прямо в выпуклый лоб Болотникова, так лихо всегда державший бескозырку.

Матрос был убит наповал, офицер же, француз, исчез... За ним вдогонку бросился сам Бирюлев с целым взводом, но его не догнали, даже просто не знали, куда бежать, чтобы его догнать: он точно затем только и выскочил, чтобы убить храброго Болотникова, а потом провалиться сквозь землю.

Возвращаясь, несли тела и прапорщика Семенского, и Болотникова, и очень тяжелое тело Шевченко... Несли и все штуцеры, какие нашли в траншеях.

Тем временем ложементы были перевернуты, и в них оставили взвод для их защиты. Цель вылазки была достигнута: ложементы против четвертого бастиона оказались теперь выдвинуты шагов на тридцать вперед. Как будто совсем немного, но эти тридцать шагов дорого обошлись французам, потерявшим не менее ста человек одними убитыми, десять пленными, из них три офицера. В роте Бирюлева убитых нашлось семь человек, раненых тридцать четыре.

VIII

Когда донесение о вылазке через Гротгуса и адмирала Панфилова дошло до Остен-Сакена, он умилился не столько удачливости лейтенанта Бирюлева, сколько геройской смерти матроса Шевченко. Но верный своему взгляду, что каждый русский герой должен быть примерно религиозен, он добавил в своем донесении об этом главнокомандующему слово «перекрестясь»: «...перекрестясь, кинулся...» Это слово и попало в «Приказ главнокомандующего военными, сухопутными и морскими силами в Крыму», продиктованный писарю самим Меншиковым.

Вот этот приказ.

«Товарищи! Каждый день вы являете себя истинно храбрыми и стойкими русскими воинами; каждый день поступки ваши заслуживают и полного уважения и удивления. Говорить о каждом отдельно было бы невозможно, но есть доблести, которые должны навсегда остаться в памяти нашей, и с этой целью я объявляю вам: 30-го флотского экипажа матрос Игнатий Шевченко, находившийся во всех вылазках около лейтенанта Бирюлева, явил особенный пример храбрости и самоотвержения. Когда молодцы наши штыками

вытеснили уже неприятеля из траншей, пятнадцать человек французов, отступая, прицелились в лейтенанта Бирюлева и его спутников; Шевченко первый заметил, какой опасности подвергается его начальник: перекрестясь, кинулся к нему, заслонил его и молодецкою своею грудью принял пулю, которая неминуемо должна была поразить лейтенанта Бирюлева. Шевченко упал на месте, как истинно храбрый человек, как праведник.

Сделав распоряжение об отыскании его семейства, которое имеет все права воспользоваться щедротами все милостивейшего государя нашего, я спешу, мои любезные товарищи, сообщить вам об этом, поздравить вас, что вы имели в рядах своих товарища, которым должны вполне гордиться.

Приказ этот прочесть во всех экипажах, баталионах и эскадронах.

Генерал-адъютант князь Меншиков».

Слова «как праведник» были тоже взяты Меншиковым из донесения Сакена, но над донесением этим, основанным, конечно, на рапорте самого лейтенанта Бирюлева, светлейший задумался. Он знал суворовское правило, включенное даже в «Памятку молодого солдата»: «Сам погибай, а товарища выручай», однако он плохо верил в то, что на подвиги такого рода способен русский солдат; даже самая торжественность этого лаконического правила совсем не подходила к складу его насмешливого, скептического ума. Человек большой культуры, чего отнять у него нельзя, он неплохо усвоил прозу войны, но от него совершенно ускользнул ее пафос, особенно пафос войны оборонительной, которую он же сам и вел теперь. Война с турками, в которой он участвовал в зрелые годы жизни, когда ему пришлось осаждать Анапу и Варну, была наступательной войной, а русский военный строй последнего времени был как будто сознательно создан в расчете на стадность, не отводя заметного места личному героизму. До Крымской войны Меншиков относился как к матросам, так и к солдатам вполне безразлично, начальственно. Он стоял над ними в выси, слишком для них недостижимой, занимая пост морского министра.

Но вот его прикрепили к небольшому клочку империи — Крыму, и только номинально числился он управляющим морским

министерством, из которого вытеснял его второй сын царя Константин. Самое свое назначение командующим вооруженными силами Крыма он считал понижением, потому что этим самым становился в подчиненное положение к военному министру, с которым до этого был на равной ноге.

Уже с первых шагов войны, когда она еще не коснулась берегов Крыма, он чувствовал себя как бы в опале, — второй раз за время своей служебной карьеры. Он назначался командовать флотом, который неминуемо будет блокирован в Севастопольской бухте, и армией, состоящей из пяти-шести полков и пяти-шести резервных батальонов, которые обречены на разгром при столкновении с крупными силами союзников. Самая же роль защитника родины его не только не умиляла, но он считал ее навязанной ему оттуда, из Петербурга, по проискам его врагов при дворе.

Больше адмирал, чем дипломат, он считал в конце концов, что назначением его командующим войсками в Крыму кто-то (про себя он даже останавливался на нескольких именах) непременно хотел доставить ему блестящую возможность запятнать свое историческое имя... И успел в этом...

Алма, атака английской конницы под Балаклавой, Инкерман — все это выдавило из Меншикова прежнее безразличие к русским солдатам: теперь отношение его к ним — пешим и конным — было непреодолимо презрительное.

Однажды, проезжая верхом на лошади с двумя своими адъютантами мимо только что пришедшего в Крым из Южной армии полка, Меншиков был чрезвычайно неприятно удивлен тем, что солдаты, стоявшие «вольно», столпились близко к нему и глядели на него во все глаза. С их стороны это было, конечно, проявлением вполне понятного любопытства: они видели своего нового главнокомандующего, от которого зависело в любую минуту послать их всех на смертный бой с неприятелем, но светлейший сделал, видя это, одну из своих знаменитых гримас и досадливо обратился к своим адъютантам:

— *Qu'est ce qu'ils me veulent?*{45}

Ударил плеткой своего коня и уехал рассерженный.

Солдаты посмотрели ему вслед, покачали головами и решили:

— Этот генерал, братцы, прямо какой-то аспид склизкий, а не человек!

Конечно, Меншиков не сомневался в том, что всякое приказание его солдаты выполнят, но как выполнят? Он понимал уже теперь, что он — не Суворов, что по его приказу они не сделают того невозможного, что делали по приказу графа Рымникского, князя Италийского, а именно только такое «невозможное» и могло, по его мнению, спасти Севастополь. Но вот перед ним лежало донесение нового севастопольского начальника гарнизона, говорившее как раз об этом «невозможном», суворовском «сам погибай, а товарища выручай», — и будто бы сделал это «невозможное» самый обыкновенный матрос 30-го экипажа Игнат Шевченко.

Правда, судя по донесению, он хотел выручить и выручил, погибая, своего начальника, но ведь лейтенант шел с ним рядом на штурм траншеи, значит, и был ему действительно товарищем по той опасности, какая им угрожала...

В этот день Меншиков чувствовал себя гораздо лучше, чем за все последние дни, и ему захотелось проехаться к отряду Липранди на Инкерман; погода же была солнечная, тихая.

Он отложил донесение с недоверием к нему, решив вызвать к себе Бирюлева и Токарева для устного доклада, а также допросить пленных французских офицеров и солдат.

Что Сакен склонен к сентиментальности, было ему известно. Что же касалось Бирюлева, то кто мог бы доказать, что он не сочинил просто-напросто этого Шевченко, как мог бы сочинить и еще не одну яркую деталь своей вылазки, была бы налицо фантазия, — сочинить, как сочинялись в штабах реляции о сражениях.

Как можно проверить, сколько траншей снова заняты французами? И как можно проверить, действительно ли хотел, или даже не думал совсем матрос Шевченко заслонить своим телом лейтенанта от пуль вражеского залпа?

Ведь он убит, этот матрос, а на мертвого можно валить, конечно, что угодно, тем более что это создает Бирюлеву желанную, несомненно, ему славу любимца матросов: так, мол, любят, что даже жизнью за

него жертвуют!

Меншиков усмехнулся криво, откладывая донесение Сакена под кожаный валик своего дивана, что значило «в долгий ящик». Поехал же он, взяв с собою из своих адъютантов одного только подполковника Панаева.

В 1814 году, под Парижем, Меншиков был ранен в левое бедро, вследствие чего левая половина его тела осела несколько вниз. И если прежде он всячески старался, чтобы такой недостаток был незаметен для других, то в последнее время уже не заботился об этом; и Панаев видел теперь, на свежем воздухе и в ясный сравнительно день, когда его начальник подходил к своему неизменному лошаку, какой он кособокий, прозрачнолицый, старый и немощный.

Кроме этой старинной раны, в последнее время, должно быть от большого похудания, стали особенно беспокоить его и следы ранения под Варной в 1828 году.

Тогда ядро пролетело у него между ногами выше колен так, что вырвало по куску мяса с обеих ног. Эти раны оказались серьезными потому, что военная обстановка того времени не могла дать возможности сразу и основательно заняться их лечением. Он целый год пролежал с ними тогда и целую жизнь время от времени возился с ними потом. Для того чтобы ездить верхом и не растереть о седло ноги, он пристегивал к ним особые сооружения из лубков.

Ехали шагом. Меншиков держался на своем лошаке сгорбившись.

Панаев с огорчением замечал, как постепенно, но неуклонно главнокомандующий занимал все меньше и меньше пространства и все меньше беспокоил людей. Он как бы сжимался, усыхал, втягивался в свою раковину, как улитка, уходил в отставку у всех на глазах.

Его спартанство, поразившее Пирогова, было вынужденное, конечно, он не щеголял им, не рисовался, не до того совсем ему было. Ему просто некуда было деваться здесь, на Северной стороне, поскольку более удобный для жилья инженерный домик был занят теперь великими князьями.

Можно было ночевать в капитанской каюте на пароходе «Громоносец», но для этого надо было подходить к нему на шлюпке и взбираться на палубу по трапу, что казалось Меншикову непосильно

трудным делом. Кроме того, ему уже не хотелось беспокоить людей.

Да, это проявлялось в нем чем дальше, тем заметнее.

Теперь у него уж был штаб, но он был разбросан по всей Сухой балке: в одной избенке жил начальник штаба генерал Семякин, в другой, далеко от него, — начальник провиантской комиссии полковник Вунш, еще в нескольких — прочие чины штаба. И часто бывало так, что Меншиков, вместо того чтобы вызвать их к себе для доклада, сам ездил к ним на своем смиренном лошаке, что дало повод весьма исполнительному, но по-украински насмешливому Семякину прозвать его «Иисусом на осляти». Бывало и так, что он ездил к ним уже поздно вечером и в любую погоду; своенравничал, например, ветер, хлестал дождь, — шел впереди лошака казак с фонарем, закутанная в бурку сгорбленная фигура тряслась на лошаке: Меншиков ехал к Семякину или к Вуншу совещаться по вопросам общего положения дел как чисто военных, так и по продовольствию армии.

Этот последний вопрос вследствие полнейшей распутицы, срывавшей подвоз провианта, с каждым днем становился острее, и Панаев знал, как неподдельно радовался светлейший тому, что из Южной армии Горчакова пришли, наконец, долгожданные сухари. Они пришли совсем недавно; с огромнейшим трудом доставили их возчики, потерявшие при этом половину своих лошадей и повозок, но все-таки сухари были налицо, их роздали в полки присылавшие за ними особые команды; на какое-то время, значит, вопрос этот перестал беспокоить главнокомандующего.

Трудно молчать, когда идешь или едешь с кем-нибудь рядом; Меншиков же давно привык к Панаеву, человеку серьезному, начитанному, хорошо владевшему пером, поэтому он говорил ему, будто думая вслух:

— Вот идут бесконечные дожди, земля раскисла так, что и на лошаке ехать трудно, и он, бедный, еле ноги из грязи вытягивает, — никаких крупных военных действий начинать нельзя, а между тем в Петербурге думают иначе... Почему же именно так думают? Да потому все, что отсюда туда идут всякие сплетни устно и письменно, — вранье всякое. Вот теперь в Симферополь, как ты знаешь, эти еще сестры милосердия явились... Ведь они все, говорят, дамы из

общества. Ну, что они увидят там и у нас здесь, когда сюда доберутся? Одни только ужасы на их взгляд... Вот и будут писать своим родным и знакомым: ах, ужасы, ужасы, ужасы!.. То ужасно, это ужасно, все ужасно! А родные их и знакомые разнесут по всему Петербургу... И во дворце будут то же самое повторять: ужасы, ужасы!.. А между тем война ни лучше, ни хуже всякой другой войны, какие были, какие будут... Только совсем не одно и то же, конечно, война, как она есть, и то вранье забубенное, какое около войны сплетается... И ведь досаднее всего то, что война отойдет, а вранье об этой войне останется! Вранье будет занесено в реляции, в мемуары; во вранье этом потом историки будут копаться и купаться с головой, на вранье этом обучаться в военных академиях всех стран молодые люди будут... А когда обучатся и когда новая война начнется, то одни из молодых людей этих, окончивших академии военные, будут управлять военными действиями и делать ошибку за ошибкой, а другие, которые в столице, в штабах сидеть будут, все будут отлично понимать и видеть: здесь сделано возмутительно, там сделано отвратительно!.. Ясно же, как день, что вот как надобно было сделать здесь, а вот как — там! И тогда была бы полная победа и конец бы настал войны... А что это, между прочим, там они, казаки эти, сушат там на рогожах, посмотри-ка! — перебил он свои мысли вслух, кивнул в сторону бивуака казачьей донской батареи, мимо которой проезжали они.

Панаев присмотрелся. На разостланных на земле рогожах действительно чернели какие-то кучи, а около них стояли и ворошили их палками казаки.

— Это, должно быть, табак, ваша светлость, — выразил свою догадку Панаев.

— Табак? Откуда же может быть этот табак? — недоверчиво поглядел на него Меншиков.

— Очевидно, с разбившихся во время бури судов союзников, ваша светлость.

— А-а! Ты думаешь, что это табак союзников?.. Что ж, и то хорошо, что хоть табаком запаслись казаки благодаря буре... Однако много же этого табаку они натаскали! Посмотри-ка, дальше вон и солдаты тоже сушат табак!

Примыкая непосредственно к Сухой балке и дальше до Инкерманских высот, лежащих по правому берегу реки Черной включительно, разлегся лагерь армии, питавшей своими батальонами и полками севастопольский гарнизон. Вместо палаток рядами стояли шалаши, в которых в ямках разводился огонь. Теперь около этих шалашей довольно однообразно сушились где на рогожах, где на мешках черные кучи.

Осенний день короток, и осеннее солнце непостоянно. Едва успели объехать лагерь по линии аванпостов, как за вечерело, хотя и не задождало. Но, возвращаясь обратно, Меншиков заметил, что солдаты, готовившие себе ужин на своих огоньках, насыпают пригоршнями в котелки что-то из назойливо лезших в глаза черных куч на рогожах.

— Поди-ка посмотри, что там такое они делают, — послал князь Панаева.

Подъехав, Панаев увидел, что на рогожах были сухари, а не табак и что эти сухари бросали в кипяток, чтобы сделать из них похлебку. Панаев попросил ложку, чтобы попробовать, что это такое за кушанье, однако едва проглотил, до того эта «тюря», как ее называли солдаты, воняла гнилью и драла горло.

Он закашлялся и протянул ложку солдату, который ему ее подал и смотрел на него, лукаво и выжидающе улыбаясь.

— Черт, какая же эта тюря горячая! — политично сказал при этом Панаев.

А солдат подхватил весело:

— Да уж вполне в акурат, как говорится пословица, ваше вскобродие: «За вкус не берусь, а уж горячо будет!»

— Ну, что там такое? — спросил Меншиков догнавшего его Панаева.

Панаеву же казалось, что его вот-вот стошнит, и, сделав немалое усилие, чтобы побороть приступ тошноты, он ответил:

— Это — сухари, ваша светлость... последней полочки...

— Ну, вот видишь! А ты говорил табак!

— Они совершенно гнилые, черные... ни на какие сухари не похожи...

Меншиков посмотрел на него испуганно, и лицо его задергалось.

— Вот чем удружил, значит, Горчаков! Завалью! Гнилью! На тебе, небоже, что нам негоже! А мы за это благодарили!.. И вот этой

гнилью, значит, должны мы кормить солдат?.. Что же они, солдаты? Не жаловались тебе?

— Не слышал в этом смысле ни одного слова, ваша светлость.

— Но ведь от этих сухарей половина армии пойдет в госпитали, как бог свят! Как же можно допускать это! Жаль, я не видел Липранди!.. И почему-то он мне не донес, что он намерен делать с этими сухарями! И Вунш не доложил, что сухари он принял гнилые!.. Вот каковы мои помощники!

Однако еще не успел несколько успокоиться Меншиков, как встретился генерал Липранди, зачем-то ездивший к Остен-Сакену в Севастополь.

Панаев удивился тому спокойствию, с каким этот, по аттестации Горчакова, весьма заботливый в отношении солдат начальник 12-й дивизии встретил возмущенное обращение к нему Меншикова насчет сухарей.

— Знаю, ваша светлость, что сухари гнилые, — сказал он, — но ведь никаких других нет и в близком будущем не предвидится. Значит, остается одно: съесть их. И их солдаты съедят, конечно. Только не нужно поднимать из-за них никакой истории, ваша светлость.

— Но ведь как же так не поднимать истории? — несколько даже опешил Меншиков. — Раз это не сухари, а дизентерия на рогожах!

— Я не смею, конечно, высказывать это, как совет вам, ваша светлость, — слегка улыбнулся Липранди, от которого пахло вином, — но это просто мой личный взгляд на вещи: солдата прежде всего не нужно жалеть в глаза! За глаза это совсем другое дело, конечно, но если пожалеть его при нем, то он тогда себя самого пожалеет вдвое и втрое! И прощай тогда военная дисциплина, ваша светлость! Я знаю только то, что в моей дивизии едят эти сухари и жалоб не заявляют. И съедят... Голодно, правда, им, но ведь солдаты чем голоднее, тем злее бывают... к неприятелю, а не к начальству! А что же нам и нужно еще от солдата? Только то, чтобы он был зол на своего врага, ваша светлость! После таких сухарей дайте ему только сойтись грудь с грудью с союзниками, — в клочья их разнесет!

Липранди говорил это с подъемом, но так и нельзя было понять, говорит ли он хоть сколько-нибудь серьезно, или издевается,

подогретый винными парами.

Меншиков посмотрел на него подозрительно, пробормотал:

— Может быть, вы и правы, что не стоит поднимать истории, — и простился с ним.

Панаеву же он сказал после длительного молчания:

— Да, как ни говорите о русском солдате, все-таки нужно признать, что он удивительное существо, этот самый русский солдат!

Вернувшись в свой домишко и лежа на диване, он и продиктовал писарю приказ о подвиге матроса Игнатия Шевченко.

Лейтенант Бирюлев произведен был в штаб-офицерский чин капитан-лейтенанта, и Николай сделал его своим флигель-адъютантом.

Глава шестая. Главнокомандующими недовольны

I

Здоровье императрицы, возвратившейся из Италии, сделалось до того плохо, что придворные врачи опасались ее скорой смерти; поэтому 24 ноября Николай переехал из Гатчины в Петербург, а за великими князьями, чтобы им присутствовать при последних минутах матери, был послан в Севастополь фельдъегерь.

Когда уезжали они, Меншиков смиренно просил их доложить царю, что он по своим недугам и дряхлости не в состоянии нести великих трудов главнокомандующего в такое тяжкое время и просит назначить лицо, которому мог бы он передать свой пост. Когда же великие князья спросили его, кого мог бы он сам предложить на свое место, Меншиков, не задумываясь, указал Горчакова 2-го, у которого в руках вся Южная армия и хорошо налаженный аппарат управления ею.

— Вместо того чтобы урывать из этой армии кусочки для Севастополя, — говорил он, — гораздо лучше будет для дела просто перевести всю ее сюда вместе с ее главнокомандующим, и тогда уж, наверное, не поздоровится союзникам.

Была ли в последних словах его ирония, он, конечно, не дал понять.

Однако и Горчаков со своей стороны как раз в это время писал царю, что Меншиков совершенно неспособен стоять во главе армии,

защищающей Крым, что, отчаявшись в возможности отбиться от врагов, он только теряет время и дает усиливаться им, что сменить его надо поэтому как можно скорее.

В том же письме он, со всею деликатностью, ему свойственной, намекал царю, что охотно взял бы на себя бремя, согнувшее Меншикова, и что бремя это было бы ему как раз по силам, так как план успешных военных операций против союзной армии у него созрел, и, конечно, он во всех деталях совпадает с теми «драгоценными мыслями» об обороне Севастополя, которыми «угодно было» царю с ним делиться в письмах.

Великие князья, уезжая в Петербург, конечно, уверяли Меншикова, что он вполне на своем месте и что царь может дать ему, пожалуй, временный отпуск для восстановления здоровья, расшатанного понесенными им трудами, но ни за что не согласится совсем отозвать его из Крыма; между собою же говорили они, что старику действительно пора на покой, что он не больше как историческая руина, столько же живописная, сколько и бесполезная. Однако возможность замены одной руины другою развалиной — Горчаковым — вызывала у них только непринужденный молодой смех и остроты.

В русских газетах и журналах того времени можно было писать только то, что разрешалось начальством и одобрялось цензурой; поэтому в печать не попадало ни одного отрицательного мнения о Меншикове, хотя достаточно ходило их в обществе.

Совсем в другом положении оказались его противники — Канробер и Раглан. Орган Сити «Таймс» — газета очень близкая к военному министерству, которым управлял герцог Ньюкестль, поместила в декабре громовую статью против Раглана.

«Нельзя более отрицать, — говорилось в этой статье, — что крымская экспедиция находится в совершенном расстройстве. Кроме мужества офицеров и солдат, нет ни одной из потребностей армии, которая не была запущена безвозвратно. Армия получает только половинные рационы, а некоторые полки бывали без провианта по несколько дней. Солдаты и большая часть офицеров дурно одеты и обуты, не имеют защиты против дождя и грязи... Из гавани нет никакой дороги в Балаклаву. Три или четыре тысячи лошадей околели от голода и от

чрезмерной работы; многие полки вынуждены были заменять вьючный скот, то есть переносить провиант и припасы из гавани в лагерь. Даже зимняя одежда не была роздана по недостатку средств к ее перевозке. Смертность доходит до шестидесяти человек в день. Во всем недостаток: в пушках, мортирах, ядрах, бомбах, топливе, материалах для постройки барачков, — во всем, что необходимо для существования армии. Врачи предсказывают, что еще до марта месяца погибнут две трети армии. Все энергичные люди впадают не в апатию, а в отчаянье. Между тем лорда Раглана едва видели со времени Инкерманского сражения. Он или не знает положения дел, или считает себя неспособным оказать в этом случае помощь и потому держится в стороне... Есть люди, для которых не было бы несчастьем, если бы главнокомандующий и его главный штаб пережили всех на высотах под Севастополем, получили ордена и готовы были бы вернуться в отечество, чтобы пользоваться там пенсиями и почестями среди костей пятидесяти тысяч англичан, лишь бы только спокойствие управления не было нарушено хоть одним увольнением, одним новым назначением. Как будто армия как в мирное, так и в военное время служит только правительственным орудием для того, чтобы продвигать вперед аристократию и защищать министерство! Мы торжественно протестуем против этого мнения; мы думаем, что армия есть орудие защиты страны против неприятеля и поддержания ее интересов... Если армия терпит крушение, если честь страны и положение английского государства должны быть спасены, то необходимо бросить за борт, не теряя ни часа времени, все уважения личной дружбы, официальной щекотливости, аристократических чувств и придворного прислужничества и поставить во главе управления опытность, энергию, дарование и достоинство, хотя бы в самой суровой и грубой их форме. Нет интересов выше общего интереса, потому что с падением последнего рухнет все. Итак, нет никаких доводов против немедленной смены начальников, оказавшихся недостойными исполнять обязанности, к которым призвали их протекция, старшинство и ошибочность в их оценке. Не стыдно для человека не обладать гением Веллингтона. Но со стороны военного министра преступно позволять офицеру хотя на один день братья за

исполнение обязанностей, забвение которых довело великую армию до гибели».

Цицероновский^{46} стиль этой статьи не мог, конечно, не потрясти старого Раглана, и он сделал прежде всего то, что сделать было легче всего: выслал вон из армии корреспондента газеты «Таймс».

Конечно, ответ на такую крутую меру не заставил себя долго ждать. В это время действовал уже телеграфный кабель, проложенный от Балаклавы до Варны, и таким образом армия интервентов была связана с Лондоном через Константинополь гораздо более современным средством связи, чем русская армия с Петербургом.

«Таймс» разразилась несколькими жестокими выпадами против Раглана, так что друзьям старого маршала приходилось уже утешать его тем, что на Веллингтона нападали не меньше во время испанской войны, впоследствии же все пред ним преклонились, как перед победителем самого Наполеона.

Утешения эти, впрочем, действовали плохо, так как Раглан видел, конечно, все недостатки в снабжении английской армии, только винил в этом не себя, а нераспорядительность военного министерства, потому что расположенная по соседству союзная армия французов, вдвое большая по численности, чем английская, имела, на посторонний взгляд, все, что можно было потребовать для нужд солдат и офицеров в этой пустынной стране, и ни в чем не нуждалась. Солдаты имели там внешне здоровый вид и были хорошо одеты. В запасных магазинах французов находилась обувь даже для турецких подкреплений, приходивших из Константинополя обыкновенно в туфлях и попадавших прямо с парохода в невылазную грязь, английские же солдаты, исхудалые до невозможности и бессильные, завертывали ноги в сено и солому. У французов всюду стояли бараки, в то время как Раглан только еще отправлял в Синоп транспорты за досками для барачков. В английской армии оставалось всего несколько сот лошадей, похожих на ходячие скелеты, наспех и кое-как обтянутые шкурой; у французов же были в большом числе мулы, сытые и крепкие, почти как в первый день высадки в Крым, и годные для всякой тяжелой работы. У французов приходилось то и дело занимать для перевозки тяжести этих мулов и фургоны, бывшие

всегда в исправном виде, и даже людей для прокладывания дорог, в то время как и в лагере французов и во всем районе расположения французских войск были проложены отличные дороги.

Сказывалось, конечно, то, что Англия сорок лет после свержения Наполеона наслаждалась миром и очень мало думала о сухопутных войсках и их устройстве, все свое внимание отдавая флоту; Франция же, не забывая о флоте, всегда стремилась поддерживать былую славу своей армии, когда-то самой сильной в мире.

Но кое-что все-таки зависело и от разницы в характере англичан и французов. И если первые под давлением холода, голода и всяких лишений становились с каждым днем все мрачнее и молчаливее, вторые не теряли своей природной веселости; и если в английском лагере иногда палые лошади валялись около самых палаток и только в виде наказания за ту или иную провинность можно было добиться от солдат, чтобы их оттащили и закопали, то в лагере французов в этом отношении было несравненно чище, а энергии зуавов, известных своими мародерскими привычками, хватало даже и на то, чтобы по ночам грабить англичан, особенно их фуры с ромом, виски и другими «горячими» напитками.

Если же зуавы не считали за грех слегка пограбить своих союзников, то французские солдаты вообще относились к английским пренебрежительно, французские офицеры к английским снисходительно, как старые служаки в полку относятся к зеленой полковой молодежи, плохо знающей службу.

Даже и попадая в русский плен ранеными, англичане и французы очень отличались друг от друга на лазаретных койках. Первые были угрюмы, сдержанны, почти не говорили ни с врачами, ни между собою, и если что читали, то только «божественное»: евангелие, библию, псалмы Давида; вторые же были очень общительны, сыпали шутками, прилежно старались усвоить хотя бы два-три десятка русских слов, и даже ампутированные из них, жизнь которых при состоянии тогдашней хирургии и санитарии зависела от стечения многих особо счастливых условий, все-таки не прикасались ни к какой божественности, а читали запоем Бальзака.

Вполне сознавая слабость своей армии по сравнению с французской и

в то же время невозможность ни увеличить ее в несколько раз, ни сделать ее, наемную, гораздо более боеспособной, английские политические деятели взывали к Франции, прося Людовика-Наполеона посылать безотлагательно как можно больше и больше подкреплений в Крым.

«Таймс» по заказу своих хозяев, банкиров Сити, писала:

«Если мы даже сделаем все то, что в состоянии исполнить, все-таки наши усилия будут ничтожны в сравнении с тем, что в полной боевой готовности находится у нашего великого союзника. Для Англии послать тридцать тысяч человек на помощь нашим измученным и осажденным в Крыму войскам кажется усилием, превышающим ее средства, между тем как императору французов стоит только захотеть, и в три раза большее количество войска будет в одну неделю готово к вторжению в Россию... Людовик-Наполеон должен быть даже более заинтересован в окончательном результате экспедиции, чем Англия, потому что его армия в Крыму гораздо многочисленнее нашей. Он должен чувствовать, как и мы, что завязал борьбу с могучим соперником, и борьбу решительную, в которой ему уже нет отступления. Одно из двух: или славные французские войска, стоящие перед Севастополем, должны остаться до последнего на поле брани, или надобно усилить французскую армию до того, чтобы ей открылась возможность начать наступательные действия. С настоящими же нашими средствами как победа, так и удачное отступление равно невозможны...»

Так, на четвертом месяце со дня вступления войск интервентов на русскую территорию, с одной стороны, князь Меншиков признал свое полное бессилие отстоять Севастополь и запросился в отставку, с другой — лорд Раглан, а за ним все руководители английской политики пришли тоже к бесспорной мысли, что они своими силами не в состоянии не только взять Севастополь, но даже благополучно убраться из него восвояси.

Оставались генерал Канробер и Франция в лице ее банкиров и «маленького» Наполеона — как надежда и опора воинствующих и сконфуженных английских министров, герцогов и самой королевы Виктории.

II

В начале декабря в силу непредвиденных обстоятельств был созван парламент, который открыла королева Виктория тронною речью.

— Милорды и господа! — провозгласила она. — Я собрала вас в необыкновенное время года для принятия при вашем содействии мер, которые позволили бы мне продолжать с большею силою и самым деятельным образом начатую нами великую войну.

Виктория все-таки хотела остаться самою воинственною женщиною в мире, несмотря на неудачно ведущуюся войну на Востоке, несмотря на то, что многие скамьи депутатов были пусты, так как депутаты эти успели уже погибнуть в Крыму, и много знатных леди и мисс видела она теперь одетыми в глубокий траур.

Конечно, тронная речь была встречена необходимым в подобных случаях громом аплодисментов и сочувственных восклицаний.

Англия уже привыкла к своей королеве и во многом отдавала ей должное.

Она была примерная жена своего мужа и не менее примерная мать своих семерых детей, ожидавшая в будущем еще нескольких маленьких принцев и принцесс, благо государство было богато и могло вполне прилично содержать их всех, сколько бы их ни появилось на свет.

Это плодородие их королевы непритворно умиляло англичан, но они отмечали в ней также и то, что она оказалась расчетливой домашней хозяйкой, а в качестве королевы старательно выполняла все, что полагалось ей выполнять.

Теперь, например, во время серьезной войны с Россией, когда очень многое поставлено было Англией на карту, ей полагалось быть преувеличенно воинственною, и она вполне добросовестно изображала воинственность.

Ума она была умеренного, никаких невыполнимых желаний не проявляла, конституцию соблюдала свято, сочиненные для нее тронные речи читала всегда ясно, отчетливо, с соблюдением всех знаков препинания и всех ударений; в парламент входила величественно, как подобает входить королеве, уходила под

несмолкаемые овации тоже неторопливо и с поднятой головой.

Что же касалось ее супруга принца Альберта, то ей лично никто не решался ставить в вину то, что он, вопреки английской конституции, все пытается вмешиваться в дела правления и вообще быть несколько большим, чем только мужем своей жены, которая является королевой. Притом же его посягательствам на кое-какую власть прекрасно умели сопротивляться, и между членами парламента, а также в обществе ходило по его поводу изречение какого-то давнего философа: «Отличие человека от других животных заключается в том, что он единственный из всех их имеет способность вечно вмешиваться в то, что до него совсем не касается».

Заседания парламента открылись после тронной речи. Однако вопрос о наборе новых войск оказался, как и предполагалось, труднейшим из всех вопросов. Он заставил даже маленького, старенького, седенького Джона Росселя{47} выступить с гневной иеремиадой{48}, произнесенной хотя и тихим голосом, но с большим чувством.

— Когда дело идет о деньгах, — пламенно, точно юноша, говорил он, поднимая палец к небу, — дух английского народа является во всем своем блеске! Откройте подписку, потребуйте от него фланели, пудингов, сладостей и портвейну для армии, он отзовется на это единодушно, отказа в этом не будет... Только, пожалуйста, не трогайте его самого, не требуйте, чтобы он оставил свои уютные комнатки и подвергся опасностям и трудам военным! Он, видите ли, очень любит свой домашний очаг, он весь без остатка погружен в трехпроцентные биржевые спекуляции, но он ненавидит лагерную жизнь и очень холодно относится к звуку боевых рожков и барабанов. О, еще бы, — он, конечно, охотно уступит наемным немецким братцам защиту и успех этого великого предприятия — завоевание Крыма!

Да, в парламенте говорились речи в пользу того, чтобы вербовать в английскую армию немцев, австрийцев, итальянцев, шведов, хотя в тогдашней Англии, считая и Ирландию, было до двадцати пяти миллионов жителей, а в крупнейшей из ее колоний — Индии — круглым числом сто миллионов. Очень мало кого прельщала даже повышенная по случаю тягостей войны в отдаленном Крыму плата наемникам капитала. Как ни бедствовали ирландцы, но и у них

вербовщики не имели успеха: слишком велики, а главное, совершенно неожиданно велики оказались потери английских войск как в армии, так и во флоте.

Между тем войну начинали с надеждой на очень скорый и полный успех; золотое правило Веллингтона: «До борьбы с врагом узнай его силы» — было забыто почему-то всеми, кто начинал борьбу с Россией; с этим должны были согласиться многие, выступавшие на необычных декабрьских заседаниях парламента.

Признано было необходимым поддержать и принять предложение члена палаты общин Робука: создать «следственный комитет о причинах гибели английской армии в Крыму», и сам же Робук назначен был председателем этого комитета.

Но от чего бы ни погибала армия, она прежде всего требовала замены ее другою, более боеспособной, — в этом вопросе и таилась та крепкая стена, которую не смогли прошибить опытные парламентские болтуны своими речами.

Лондонские банкиры соглашались дать Франции большой заем на очень льготных условиях, лишь бы Франция выставила в Крыму столько войск, сколько, потребуется для окончательной там победы.

Для того же, чтобы склонить к этой сделке Наполеона, в Париж к нему командирован был Пальмерстон, давний друг и, как говорили, даже «сочинитель» его как императора Франции.

Знаменитый английский государственный деятель лорд Пальмерстон, которому было в то время уже семьдесят лет, но который не дожил еще тогда до зенита своей славы, являлся не только «сочинителем» Наполеона III, но и одним из главных соавторов франко-английской интервенции в Крыму.

Великие основоположники коммунизма Маркс и Энгельс всего за год до начала Крымской войны дали в «People's Paper» великолепный портрет его, начиная ряд статей о нем таким убийственным сравнением:

«Руджьеро все снова и снова пленяется ложными прелестями Альчины{49}, за которыми, как он это знает, скрывается старая ведьма — «беззубая, безглазая, отвратительная, лишенная всякой прелести». Странствующий рыцарь все снова влюбляется в нее, хотя

знает, что она превращала всех своих прежних поклонников в ослов и других животных. Английская публика — новый Руджьеро, и Пальмерстон — новая Альчина. Он умеет всегда придавать себе прелесть новизны, хотя ему уже под семьдесят и он с 1807 года почти непрерывно подвизается на политической арене; он умеет все снова возбуждать надежды, которые обычно связываются лишь с неиспытанным, многообещающим юношей. И хотя он уже стоит одной ногой в могиле, от него все еще ожидают, что он только начнет свою настоящую карьеру. Если бы он завтра умер, вся Англия удивилась бы тому, что он целых полвека был министром».

Но этот счастливый ирландец оставался министром и еще десять лет после Крымской войны, пока, наконец, не умер, и в смысле «памяти народной» ему повезло даже в России: не одно поколение русских грамотных людей знало его благодаря известным стишкам какого-то неизвестного автора:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом!

Имя Пальмерстона в этих стишках очень тесно сплеталось с именем французского императора:

Вдохновлен его отвагой,
И француз за ним туда ж:
Машет дядюшкиной шпагой
И кричит: — Пойдем, смелей!

Полно, братцы! На смех свету
Не останьтесь в дураках, —
Мы видали шпагу эту
И не в таких руках!

Если дядюшка бесславно

Из Руси вернулся вспять,
Так племяннику подавно
И вдали несдобровать...

Стишки эти появились тогда, когда Николай и Нессельроде думали избежать войны с Европой и не хотели раздражать ни Англии, ни Франции в лице их представителей в Петербурге: Гамильтона Сеймура и Кастельбажака.

Несмотря на патриотичность стихков, не уступающую в этом отношении солдатской песенке Горчакова, они все-таки были запрещены из видов чисто дипломатических, и автора их искали жандармы, поэтому он благоразумно скрыл свое авторство, а молва приписывала их то поэту-актеру Григорьеву, то Алферову, то Опочинину, то другим, а так как они были под запретом, то читались и распевались в светских гостиных... Музыку к ним написал Вильбоа.

Запрещая куплеты о Пальмерстоне, Николай, между прочим, считался и с ним самим. Он почему-то был убежден, что Пальмерстон, политика которого в двадцатилетнюю бытность его министром иностранных дел сводилась в сущности к покровительству либеральным партиям за границей, благоговеет перед ним лично и поэтому ничего во вред ему и России замышлять не будет.

Это проявление симпатий к Николаю со стороны Пальмерстона и действительно было так заметно для других, что ему однажды задан был в парламенте резкий вопрос, не состоит ли почтенный и благородный лорд на жалованье у русского императора.

Однако почтенный лорд, как бы благоговей перед Николаем, в то же время первый признал Наполеона III императором Франции, отлично зная, как относился к принцу Луи Николай.

Но как казалось всем англичанам до декабря 1854 года, Пальмерстон на посту секретаря (то есть министра) иностранных дел был настоящим человеком на настоящем месте. С того времени устно и печатно все начали признавать, что организованное главным образом им нашествие в Крым кончается или грозит окончиться явным крахом и посланная туда английская армия, собранная с такими великими усилиями, почти уже не существует.

Конечно, он, один из главных инициаторов войны, и должен был употребить в дело весь свой талант убеждения, чтобы повлиять на Наполеона в желательном для правящих кругов Англии смысле.

III

Прекрасный остроумный собеседник, всегда превосходно чувствовавший себя за любым столом, человек очень еще крепкого здоровья, несмотря на преклонные годы, и весьма располагающей к нему внешности, Пальмерстон был встречен очень радушно Наполеоном и императрицей Евгенией, хотя цели его визита были им заранее известны, и нельзя сказать, чтобы они были приятны Наполеону.

Наполеон знал, конечно, Пальмерстона гораздо лучше, чем те, которые признавали его либералом, вигом по партии, к которой он принадлежал и которую возглавлял даже; для него он был истый тори, консерватор.

Он помнил фразу из одной его недавней речи: «Век, в который мы живем, есть век прогресса, а не реформ», и этой фразы было для него довольно.

Он считал Пальмерстона в числе своих друзей, потому что тот в декабре 1851 года должен был выйти из кабинета Росселя и прервать тем на время свою политическую карьеру из-за восторженного отношения своего к государственному перевороту во Франции, послужившему прологом к восстановлению империи. Друзьями же своими Наполеон дорожил, так как был подозрителен и видел их около себя очень мало.

Наполеон много сделал для дворца в Сен-Клу, где он жил и где принимал теперь Пальмерстона. При Луи-Филиппе дворец этот не то чтобы был запущен, но гораздо менее изящен и менее уютен внутри; кроме того, при нем было в этом дворце гораздо менее порядка, но зато много суетни, которая казалась совершенно излишней. Это прежде всего и бросилось в глаза английскому дипломату. Когда же он был представлен императрице Евгении, то сумел совершенно непритворно поразиться ее красотой, ее грацией и приветливостью обращения. Это создало хорошую почву для будущих переговоров по

вопросу о войне на Востоке, тем более что знатный гость из союзной страны был приглашен к завтраку в семейной обстановке.

Однако Пальмерстон, сам в совершенстве владевший искусством скрывать до удобнейшего времени свои мысли, как бы ни были они важны по существу, удивлялся, что встретил подобное же искусство в человеке, так сравнительно недавно еще приобщившемся к государственным делам и тайнам.

Перед завтраком говорилось о королеве Виктории и ее семье, о принце Альберте, который в сентябре сделал визит Наполеону и будто бы изумил его своими глубокими познаниями в самых разнообразных вопросах, об Орлеанах{50}, которые после изгнания из Франции нашли себе приют в Англии, о новшествах во внешнем виде дворца и старинного парка при нем, создании знаменитого садовника Ленотра. За завтраком говорили о всемирной выставке, которую готовились в следующем году открывать в Париже. Этим вопросом была особенно занята Евгения. Она сообщила гостю и о том, что на выставке этой будет показан, между прочим, колоссальной величины бриллиант, который после окончательной обработки будет весить свыше ста двадцати каратов и стоить пять миллионов франков.

Пальмерстон восхищался искусно, льстил умело и бесподобно, наблюдал зорко, запоминал крепко, делал выводы про себя точно и быстро: преклонные годы не сломали в нем ни одного из счастливых свойств полнокровной, упругой зрелости.

Он, конечно, во всех подробностях, какие были возможны, знал многое из того, что теперь слышал, например о готовящейся в Париже всемирной выставке, которая, кроме успехов промышленности, должна была показать и успехи мирового искусства. Он знал, что знаменитый немецкий художник Корнелиус собирает для этой цели все свои картины и пришлет их более двухсот. И об алмазе «Южная звезда», который был уже доставлен из Бразилии в Европу владельцем его Гельфеном, весил двести сорок четыре карата, а ограненный будет весить вдвое меньше, но и при этом условии все-таки явится достойным соперником ко-и-нура — «Горы света», который был три года назад украшением лондонской выставки, — Пальмерстон тоже, конечно, читал в газетах, но он читал также и то,

что самая выставка в Париже отменяется вследствие войны.

Теперь же ему было более чем приятно услышать от самой императрицы Франции, что война — войною, а выставка — выставкой и что как было предположено первоначально, так и будет: выставка откроется непременно 1 мая 1855 года, к чему уже теперь Париж готовится весьма деятельно: расширяются магазины, отели, рестораны, столовые, предусматривается вообще все, чтобы принять наплыв большого количества экспонатов и посетителей из других городов Франции и остального мира.

Это сообщение сулило Пальмерстону успех в предстоящих ему переговорах с Наполеоном: если Франция так могуча, что война в Крыму нисколько не отражается на ее внутренней жизни, то что стоит ей отправить на Восток достаточное количество подкреплений, чтобы в непродолжительном времени добиться решительной победы?

Императрица Евгения очаровывала его с каждой минутой сильнее и сильнее, но он не мог сказать самому себе того же о Наполеоне. Этот казался таинственным, загадочным сфинксом: весьма тщательно и долго обдумывал он каждую свою реплику, точно не говорил, а играл в шахматы, и в каждой деловой фразе его непременно была какая-нибудь неопределенность, которую можно толковать так или иначе, смотря по личному вдохновению.

И когда, наконец, он остался с монархом Франции один на один в его кабинете, он чувствовал себя не совсем уверенно.

Здесь почему-то даже самая внешность Наполеона «маленького», — его несоразмерно длинная талия при коротких ногах, его излишне прищуренные, явно прячущиеся глаза, его неторопливая и не в полный голос речь, таившая настоящий смысл свой где-то вдали, за словами, — все это обескураживало несколько Пальмерстона, несмотря на его огромную опытность и способность никогда не теряться и выходить из любых положений победоносно.

Но его не зря называли актером на любые роли: наблюдая собеседника, он исподволь заимствовал его жесты и почти произвольно начал щуриться сам, не упуская при этом все же ни одной тени на лице Наполеона, как бы мгновенно она ни пробегала по его лицу.

Теперь, наедине, разговор шел уже исключительно о войне и ее непредвиденных трудностях.

— Вашему величеству, несомненно, гораздо известнее, чем мне в данное время, когда я уже не ведаю иностранной политикой и не стою у кормила военных дел, положение наших армий под Севастополем, — говорил Пальмерстон, старательно округляя фразы. — По мнению сведущих лиц в Англии, оно... оставляет желать лучшего. Я отказываюсь приписывать наши неудачи нашим главнокомандующим. И лорд Раглан и генерал Канробер — люди весьма опытные в военном деле, и я уверен, что они со своей стороны сделали все, что могли сделать, однако после трех месяцев осады результаты получились очень скромные, чтобы не сказать печальные... В особенно же неблагоприятном положении оказалась английская армия, так как она — ближайшая к армии князя Меншикова и первая получает удары при его атаках. Это весьма сказалось уже в двух сражениях, особенно в Инкерманском, но кто же может дать гарантии, что нашу армию не ожидает в ближайшее же время еще атака, притом гораздо сильнейшая? Тогда, ваше величество, она при всем своем мужестве, при всей своей стойкости может совершенно перестать существовать, о чем даже подумать страшно!.. Между тем нельзя же сказать, что мы не делали всего, что могли сделать, чтобы поддержать, чтобы предохранить нашу армию, чтобы снабдить ее всем необходимым! Нет, мы сделали все, что было в наших силах, однако армия наша тает, стремительно, неудержимо тает, и в последние недели даже не столько от русского оружия, сколько от болезней, сколько от этого ужасного русского климата, совершенно непривычного для наших офицеров и солдат...

Тут Пальмерстон сделал маленькую паузу, какие были свойственны ему и тогда, когда произносил он парламентские речи, так как первоклассным оратором он не был.

Этой паузой его воспользовался Наполеон, чтобы сказать совершенно непроницаемым, спокойным тоном:

— По донесениям, какие получил я, английские батареи против Редана{51} и других русских бастионов совершенно почти замолчали двадцатого ноября, а с двадцать четвертого несколько дней не могли

сделать ни одного выстрела, потому что иссяк запас снарядов. Приходилось даже подбирать русские ядра, если они подходили по своему калибру к английским орудиям.

Это сказано было как-то совершенно вскользь, между прочим, без малейшего повышения голоса, но Пальмерстон сразу широко раскрыл глаза, как от удара.

— Об этом печальном факте, ваше величество, я не был осведомлен, хотя не сомневаюсь, разумеется, что он мог иметь место... Доставка снарядов для огромных тринадцатидюймовых осадных орудий вещь, вообще говоря, трудная для лорда Раглана: от места выгрузки снарядов, Балаклавы, до наших батарей против Редана считается шестнадцать километров самой невозможной дороги... Между тем для доставки всего только шести снарядов требуется, насколько мне известно, десять лошадей, и на это уходит у них целый день, ваше величество!

— Отчего же в таком случае не провести от Балаклавы к позициям железную дорогу, милорд? Локомотив по рельсам доставил бы английским артиллеристам все нужное и в каком угодно количестве, — сказал Наполеон. — Притом же доставлять для него уголь было бы гораздо легче и проще, чем сено для лошадей.

Пальмерстон постарался сделать изумленное этим откровением лицо, отвечая:

— Вы совершенно правы, ваше величество, — это мысль! Но я все-таки не думаю, чтобы лорд Раглан там, на месте, не имел в виду чего-нибудь подобного. Очевидно, он все же полагает, что удачного завершения осады можно достичь скорее, чем построить для этой цели железную дорогу. Генерал Канробер оказался в лучших условиях: позиции армии вашего величества гораздо ближе к своей базе.

— Добавьте, милорд, что он успел построить несколько шоссейных дорог, как говорят, вполне удовлетворяющих своему назначению... Тем не менее я все-таки очень недоволен им за крайнюю медлительность его действий! У него есть любимая поговорка: «Нельзя всего делать вдруг», — вследствие чего он предпочитает делать очень мало.

Это замечание Наполеона было брошено им английскому министру как

спасательный круг, за который Пальмерстон немедленно схватился: Канробером были недовольны и правящие круги Англии.

— Вы изволили сказать, ваше величество, что не одобряете образ действий генерала Канробера, но ведь армия вашего величества так богата опытными и даровитыми генералами! Взять хотя бы Боске, сумевшего так отличиться и в сражении при ауле Бурлюк и в бою на Инкерманских высотах.

Пальмерстону казалось, что он назвал имя, которое бесспорно и для его собеседника, однако Наполеон сделал едва уловимый жест неудовольствия.

— Боске, конечно, сообразительный и даже сведущий генерал, не говоря о личной храбрости, в чем нет недостатка и у Канробера, — сказал Наполеон, — но все-таки он не годится в главнокомандующие. Я думаю дать ему корпус, что же касается Канробера, то, быть может, ему еще удастся проявить себя с лучшей стороны, подождем этого... Впрочем, может случиться и так, что война не получит дальнейшего развития.

Эти последние слова Наполеона, сказанные несколько небрежно, совершенно ошеломили Пальмерстона.

— Каким же образом это может случиться, ваше величество? — спросил он изумленно и даже с тревогой.

— Император Николай, кажется, начинает уже серьезно подумывать о мире, — неопределенно, но сделав подобие улыбки, ответил Наполеон.

— О мире?.. Как же можно говорить о мире, когда мы в сущности ничего почти не добились, когда и Севастополь еще стоит и большая часть русского флота цела. Какие же условия мира мог бы нам предложить русский император, ваше величество?

— Несомненно, милорд, русский император желает мира, так как видит, что попал в тяжелое положение. Но что касается условий этого мира, то диктовать их будем, разумеется, мы, — снисходительно улыбнулся Наполеон; Пальмерстон же отозвался на это с твердостью в голосе, наиболее для него возможной:

— Что касается до меня лично, то я уполномочен говорить с вашим величеством только о возможностях успешного продолжения войны,

чтобы закончить ее в кратчайший срок. Англия сделает для этого все, что найдет нужным, но затруднения наши заключаются как раз в том, чем сильна монархия вашего величества: мы должны еще только создавать свою армию, в то время как во Франции она существует и может быть увеличена в короткий срок до огромных размеров благодаря воинской повинности... Турецкие войска очень плохи, и когда армия Омер-паши высадится в Евпатории, едва ли можно надеяться, что она в состоянии будет пойти к Перекопу и запереть русских в Крыму. Наш новый союзник — Сардиния — не в состоянии прислать в Крым больше корпуса в пятнадцать тысяч, между тем как у русских огромнейшие резервы. Едва ли я ошибусь, если скажу, что армия Горчакова имеет еще не менее ста тысяч штыков, полтораста тысяч в Польше — у князя Паскевича, двести тысяч собраны под Петербургом... Как бы мы ни надеялись на русское бездорожье, но эти страшные силы если будут двинуты, то дойдут до Крыма. Наша тактика должна быть основана только на том, чтобы предупредить их и кончить с Севастополем до их прихода...

На этот раз Пальмерстон говорил долго, будто в парламенте, стараясь не упустить ничего, что могло бы повлиять на быстроту и решительность действий Наполеона, который, казалось бы, думая о чем-то постороннем, ходил в это время по кабинету, неслышно ступая по коврам.

Он курил при этом сигару и подходил раза два к столу только затем, чтобы стряхнуть пепел в пепельницу из тончайшего розового севрского фарфора, представляющую чашу-грудь, одну из нескольких, отлитых по капризу Марии-Антуанетты^{52} по ее собственной груди, чтобы угощать из них парным молоком в своем уютном Трианоне интимных гостей.

По весьма сосредоточенному, однако как будто застывшему лицу Наполеона Пальмерстон никак не мог определить, какое впечатление производит он своими хорошо, казалось бы, взвешенными словами: оно было непроницаемо, точно в забрале.

Иностранной политикой Англии ведал в это время лорд Кларендон, но и Пальмерстону, конечно, не безызвестны были четыре пункта обращения Нессельроде к своему посланнику, барону Будбергу.

Император Николай предполагал, что достаточно было бросить своим врагам такую кость о четырех суставах, чтобы они удовлетворились ею, сняли осаду Севастополя, подписали бы мир и увели свои корабли из Черного моря: 1) общее ручательство со стороны пяти держав (то есть России, Англии, Франции, Австрии и Пруссии) за сохранение религиозных и гражданских прав христианского населения Османской империи; 2) покровительство автономным княжествам со стороны тех же пяти держав; 3) пересмотр договора 1841 года России с Портой, причем правительство России соглашалось на его уничтожение, если на этом будет настаивать султан; 4) свободное плавание по Дунаю.

Русская дипломатия начала слишком издалека, и Пальмерстону было известно, что этих четырех пунктов обращения Нессельроде обсуждать в Англии не хотели, однако он опасался, не было ли сделано Николаем каких-нибудь добавлений к четырем пунктам, адресованных непосредственно Наполеону, чтобы попытаться расколоть союз Франции с Англией; поэтому он говорил, воодушевляясь сам теми представлениями, которые просились в его слова:

— Известно и решение русского императора: «Я могу выставить миллион войска. Прикажу — будет два; попрошу — будет три!» При том огромном запасе пушечного мяса, какой имеется в России в лице ее бесправных крестьян, можно, пожалуй, поверить, что это не совсем хвастовство, но для такой гигантской армии в России не хватит ни оружия, ни боевых припасов, ни даже офицеров, чтобы командовать необученною массой каких-то партизан от русской сохи... Трехмиллионная русская армия — это утопия, двухмиллионная — шальная фантазия, не будем говорить даже и о миллионной в Крыму, но если удастся как-нибудь русскому императору сосредоточить там двести — триста тысяч к весне и снабдить их всем необходимым... это уже гораздо ближе к вероятности, и мы во что бы то ни стало должны предупредить такой скверный для нас оборот дела, ваше величество!

Пальмерстон сделал паузу сознательно, вызывая своего молчаливого собеседника на необходимую реплику, но тот, остановившись у окна, смотрел в парк, в котором зеленели уже только деревья и кустарники, не способные желтеть зимою, и предпочитал больше слушать, чем

говорить.

В императоре французов совсем не было основной черты любого француза — оживленной говорливости, какую отличался, например, и толстый Луи-Филипп и которая вообще была свойственна всем членам Орлеанского дома. Не допуская, чтобы корсиканцы, народ южной крови, были так мало экспансивны, Пальмерстон соображал мимоходом, не немец ли был тот случайный избранник королевы Гортензии, которому молва приписывала появление на свет Луи-Наполеона. Это соображение направило его мысли в сторону Пруссии, и он продолжал:

— Все наши попытки привлечь в союз против России прусского короля остаются бесплодными, как вам, ваше величество, известно. Однако он начинает мобилизовать свою армию, против кого же именно? Что, если эта армия выступит против нас? Отношения его к императору Николаю продолжают оставаться почтительными, но трудно предположить и то, что он занялся мобилизацией просто так, на всякий случай, так как Пруссии никто не угрожает. Австрия развязала войну на Востоке, заняв княжества на Дунае, однако мы ничего пока не успели сделать, чтобы заставить ее идти дальше, вторгнуться в пределы России. Очень юный австрийский монарх, видимо, просто питает страх к маститому русскому монарху. Так неужели допустить, чтобы варварская держава эта — Россия — задерживала прогресс человечества? Историческая миссия наших двух стран, состоящих в совершенно органическом союзе, приобщить к цивилизации Восток, и эту миссию, завещанную нам всем ходом истории человечества, мы должны выполнить во что бы то ни стало! Эта война для нас так же священна, как крестовые походы! Ни о каких уступках варварской России не может быть речи, — она должна быть поставлена на колени, иначе зачем же прогресс? Иначе зачем же вся эта великолепная сокровищница изобретательности ума и таланта, часть которой вы, ваше величество, имеете намерение показать в мае будущего года в столице прекрасной Франции!

Пальмерстон даже несколько покраснелся, постепенно подходя к цели своей поездки, но все еще считая недостаточной свою подготовку к ней. Наполеон же, стряхивая с сигары пепел в грудь

Марии-Антуанетты, несколько мгновений глядел на него выжидающе и сказал, точно думая вслух:

— Шестые роты третьих батальонов во всех ста полках линейной пехоты моей армии были отменены одно время, чтобы не слишком увеличивать численность армии. Теперь они будут мною восстановлены вновь.

— И насколько же в таком случае может увеличиться армия вашего величества? — оживленно, однако с некоторым недоумением спросил Пальмерстон

— Это будет около двенадцати тысяч человек, милорд, — непроницаемо серьезно ответил Наполеон.

— Двенадцать тысяч храбрых французских егерей под стенами Севастополя способны, появившись они там вовремя, повернуть в нашу сторону лицо победы, как это случилось на Инкерманских высотах, где выручили нас девять тысяч егерей генерала Боске, ваше величество, — тщательно скрывая разочарование, проговорил Пальмерстон, — но затянувшаяся так неожиданно война требует... более могущественных усилий...

Бросив в чашу окурок сигары, Наполеон сел в кресло, слегка улыбнулся, поднял голову и, глядя на гостя-друга теперь уже не сощуренными глазами, сказал почти шутливо:

— Мой великий дядя любил повторять, как вам, конечно, известно, милорд: «Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги».

— Прекрасно, ваше величество! — обрадованно подхватил Пальмерстон, видя, что его собеседник сам переходит к тому пункту переговоров, который считался им наиболее щекотливым. — При малейшем затруднении вашего величества по части финансирования дальнейшего ведения войны в более широких масштабах, чтобы решительной победы добиться возможно скорее, английское правительство всемерно придет вам на помощь!

Наполеон, дотронувшись до своей эспаньолки и пристально глядя на Пальмерстона, спросил медленно:

— В какой же именно форме вы думаете предложить эту денежную помощь, милорд?

— В виде займа, ваше величество, размером, скажем, в двести

миллионов франков, — не совсем уверенно ответил Пальмерстон. Он имел полномочия идти и дальше этой суммы, если потребуют того обстоятельства, но хотел соблюсти порядок постепенности и смотрел выжидающе.

— Нет, я решительно против внешних займов, — неожиданно для него сказал Наполеон. — Воевать на счет будущих поколений я считаю неудобным, как бы ни были святы цели войны нашей... Я прихожу к мысли объявить подписку на заем внутренний. Война с Россией должна стать делом всей французской нации, и пусть каждый принесет для этой цели свои сбережения.

— Это превосходная мысль, ваше величество! Сделать войну народной войною — что может быть выше этого? Разумеется, этот заем будет очень популярен во Франции. И на какую же сумму, позвольте узнать, ваше величество, предполагаете вы объявить заем?

— На полмиллиарда франков, — несколько небрежно ответил Наполеон. — Но я думаю, что эта сумма будет значительно перекрыта.

— Она будет перекрыта вдвое и даже втрое, ваше величество! — горячо сказал Пальмерстон. — В этом займе, конечно, будут участвовать и английские капиталисты, и он будет перекрыт значительно, в чем прошу позволения мне вас уверить!

Пальмерстон думал, что этим своим заявлением, выраженным с большой горячностью, он растопит ледок в душе «сочиненного» им императора, но тот сказал на это медлительно и как бы совершенно равнодушно:

— Возможно, что в нем примут участие и бельгийские банкиры... а также и голландские, милорд, хотя процент будет и невысокий ввиду дешевизны денег в Европе в настоящее время.

IV

Из Сен-Клу в Париж со Страсбургского вокзала сопровождал Пальмерстона плешивенький граф Морни.

В противоположность своему побочному братцу, монарху Франции, он был настоящим французом по неистовой говорливости; когда же он узнал кое-что о готовящемся внутреннем займе, обещавшем, по словам Пальмерстона, небывалый успех, то, прирожденный биржевой

делец, он оживился до чрезвычайности.

Между прочим, он, в шутильной форме конечно, попенял знатному гостю Франции на то, что английское правительство, убедясь, что бирмингамские оружейные заводчики не справляются с заказами на штуцеры, передало большие заказы на них в Бельгию, главным образом в Люттих.

— Поверьте, милорд, — говорил он, — французские фабриканты сделали бы для Англии то же самое и гораздо скорее и гораздо лучше, чем эти неповоротливые бельгийцы! Впрочем, я упускаю из виду то обстоятельство, что король Леопольд — родной дядя королевы Виктории, и если заказ Люттиху на штуцеры был сделан в угоду лично королеве Виктории, то французские фабриканты, разумеется, не будут иметь ровно ничего против этого... милого родственного подарка! Поверьте, милорд, во Франции умеют любить и почитать королеву Викторию!

Морни, говоря о штуцерах, заказанных в Бельгии, не забыл упомянуть и о том недостатке английских патронов, который приводил к постоянным осечкам во время дождей.

— А между тем, — добавлял он с видом знатока оружейного дела, — самый тонкий, только непромокаемый слой на капсуле патрона вполне мог бы предохранить бравых английских солдат от тех огромных потерь, какие они понесли в Инкерманском сражении. Фабриканты Люттиха должны, так мне кажется, милорд, прежде всего прочего иметь в виду это маленькое обстоятельство, способное привести к большим и печальным последствиям.

Однако самым существенным из средств ведения всякой вообще войны, а этой, с Россией, тем более, граф Морни считал неослабный подъем настроения масс как на фронте, так и внутри воюющей страны, поэтому он с увлечением говорил о балах, маскарадах, оперных, театральных и цирковых представлениях недавно открывшегося зимнего сезона в Париже, причем даже и м-ль Борелли, нежная с виду девушка, укротительница зверей, входящая в Наполеоновском цирке в клетку к двум львам, медведю и гиене, чтобы дразнить и усмирять их, не была им забыта.

— По общему мнению парижан, милорд, эта сцена, поражающая

ужасом, невыразимо привлекательна! — говорил Морни с увлечением. — А бразилец Карвальс, который ставит себе на нос целое дерево с чучелами птиц, сидящих на ветках, и потом, вообразите, начинает, держа дымящуюся сигару во рту, сбивать этих птиц одну за другой пистолетными выстрелами без промаха! Это вызывает бурный восторг парижан! Это в то же самое время поддерживает в них воинственность, не так ли, милорд? А на театре Ambigu и других бульварных театрах так больно бьют каждый вечер казаков, милорд, что за исполнение роли русских уже не берут теперь меньше, как по три франка за спектакль, между тем как на роли наших гренадеров и зуавов охотно идут и за семьдесят пять сантимов!

Пальмерстон благодушно смеялся, слушая это. Он вообще и всегда был склонен больше к комическому, чем к трагическому. Жизнерадостность Морни и других французов, его окружавших в Париже перед отправлением обратно в хмурый Лондон, заражала его, падая на благодарную почву. Свою миссию он считал выполненной если и не совсем так, как предполагали в Лондоне, все же довольно удачно, так как участие банкиров Сити во внутреннем французском займе было явно желательно Наполеону. Он даже решил про себя, что для блага Англии и в видах ускорения победы над сильным северным медведем ему необходимо добиваться того, чтобы не способный к управлению военным министерством герцог Ньюкестль уступил этот очень важный пост ему, Пальмерстону.

V

Канробер был ранен в левую руку во время сражения при Алме, в правую — на Сапун-горе, во время Инкерманского боя; раны были, правда, легкие, однако сам взбираться на лошадь он, человек небольшого роста, не мог, — его подсаживали. Так, с чужою помощью утвердившийся в седле, в одно из первых чисел декабря отправился он к лорду Раглану на совещание по многим очередным вопросам.

Что армии союзников должны будут перенести так или иначе зиму в Крыму, это уж было предрешено. Что о наступательных действиях не могло быть и речи до весны, когда должны были прибыть большие

подкрепления, об этом главнокомандующие обеих армий договорились уже раньше.

Напротив, все усилия в последнее время обращены были только на то, чтобы как можно лучше обезопасить себя от нового нападения русских, подобного большой вылазке 24 октября (5 ноября) со стороны Инкермана; и теперь правый фланг позиции англичан имел уже целую непрерывную цепь сильных редутов, где вместо двух-трех, как было раньше, стояло тридцать пять орудий большого калибра.

Однако если, как казалось, обезопасили себя от больших вылазок, то малые вылазки каждой почти ночи беспокоили всех страшно, выбивая из сна солдат и офицеров. Участились за последнее время и случаи стаскивания часовых с траншейных валов по ночам какими-то крючьями на длинных палках. Захваченный таким крючком часовой летел вниз, где его проворно связывали веревками, затыкая ему рот, чтобы он не кричал, и уносили на бастионы.

Канробер, бывший адъютант самого императора французов, даже написал письмо начальнику гарнизона Севастополя, барону Остен-Сакену, в том смысле, что сражаться полагается так, как это принято у просвещенных народов, то есть: пушками, мортирами, ружьями, саблями, штыками, наконец, но не какими-то крючками на палках и веревками. Сакен смиренно ответил на это, что крючками на палках и веревками действуют, очевидно, рабочие, посылаемые в отбитые ложементы для земляных работ, что же касается строевых русских солдат, то откуда же у них могут взяться какие-то крючки и веревки?

Впрочем, и Сакен и Канробер знали во время этой переписки, что «крючки» эти — просто загнутые концы пик и действуют ими по ночам казаки-разведчики.

Когда бы ни приезжал в Балаклаву Канробер, его всегда удивляла и коробила царившая там безалаберность в гавани, совершенно непроходимая грязь, вонь около этих двух сотен балаклавских домишек и в лагере англичан и турок.

Так же было и теперь.

Бухта, самое широкое место которой едва ли доходило до полутора метров, была совершенно забита транспортом, которые разгружались. Новые осадные орудия были уже на берегу, но рядом с

ними громоздились в густой, черной, зловонной грязи и бочонки с ромом, и ящики с зимней одеждой, и мешки картофеля, и ящики с карабинами, и бочонки с соленой свининой и сухарями, и мешки с ячменем — все это в полнейшем беспорядке, хотя много было офицеров при разгрузке, которые, кажется, могли бы установить какой-нибудь порядок, отнестись бережно к тому, что прислано за три тысячи миль и является до зарезу необходимым.

Худые, зеленолицые, оборванные, грязные люди, пригибаясь почти к земле, таскали по сходням, зыбким и скользким, и дальше все эти ящики и бочонки и бросали их в грязь с ожесточением. Конечно, трудно было узнать в этих измученных людях когда-то блестящих по своей форме и хорошо упитанных, тяжелых и рослых английских солдат.

В углу бухты, в воде, лежал привезенный из Синопа лес для постройки барачков; Канробер знал уже, что постройка их затормозилась из-за полного отсутствия гвоздей. Везде в лавчонках, устроенных для нужд английского лагеря, видны были только бутылки — коньяку, рома, виски, даже шампанского. Около них стояли бочки, наполненные пустыми бутылками и горы бутылочного стекла.

Впрочем, в том помещицьем доме, который занимал Раглан с несколькими офицерами своего штаба и своим врачом, было довольно чисто, и на столе в изящной рамке красовался даже портрет леди Раглан, весьма уменьшенная копия с портрета работы талантливого Лоренса. Канробер уже видел его на том же столе не раз и всякий раз думал, что это красивое надменное лицо, показатель сильного характера, годилось бы для актрисы, играющей леди Макбет.

Но Канробер знал от самого Раглана, что умерший давно уже художник Лоренс, человек счастливой внешности и судьбы, писал его жену в пору их медового месяца, лет тридцать назад. Это тогда в ее искусно завитых русых волосах кокетливо горела яркая, пышная роза; это тогда голубой пояс перехватывал ее светло-кремовое платье, не в талии, а гораздо выше, под самой грудью; это тогда тонкий, прозрачный малиновый шарф обвивал прихотливыми складками ее голую полную руку и крупный алмаз-брошь приколот был на низком вырезе ее лифа.

Все это было в далеком прошлом, а теперь здесь, на пустынном берегу Крыма, странно было бы даже и вспоминать об этом. Здесь нужно было думать только о том, как удержаться до весны или до присылки сильных подкреплений ввиду грозных, как и в начале октября, севастопольских бастионов и как уберечь от полного истребления болезнями полки, которые доверила ему королева Англии, пожимая при прощании с ним его единственную руку.

Раглан был дома и встретил главнокомандующего союзной армии несколько суетливо, что было в нем ново. Обычно красноречивый, он в этот раз был немногословен, хотя совещание их касалось, между прочим, и такого важного вопроса, как выбор места зимней стоянки военного флота.

Адмиралы Дондас и Гамелен, по древности своей, были отозваны, и на место первого был назначен Лайонс, на место второго — Брюа; военный флот был значительно уменьшен, особенно после бури 2 ноября; но представлялось возможным свести его всего до нескольких единиц, остальные же суда отправить на зимовку в Босфор, так как о новой бомбардировке фортов с моря никто уже не думал, а выход почти разоруженного русского флота из своего убежища был явно немыслим.

Однако Раглан отнесся к этому вопросу нерешительно. Он говорил:

— Конечно, корабли наши почти бесполезны для нас на море, где они могут к тому же серьезно пострадать от зимних бурь. Но они ведь снабжают нас орудиями, когда в этом бывает крайняя надобность, и прислужою к ним в лице матросов. Когда у нас будет в избытке и то и другое, тогда, разумеется, нам незачем будет держать на якорях боевые суда, а пока... У меня только что были в руках сводки: мы теряем в среднем по полтора человека в день от дизентерии и других болезней! Да, армия тает даже без боя с русскими полками от русского климата, — это, кажется, общий результат всех вторжений в Россию.

— Получилось известие, милорд, что от всех пехотных полков Франции будет взято по сто шестьдесят человек отборных людей и послано в Крым, — сказал после длительной паузы Канробер. — Эту меру правительства можно приветствовать. Это даст до шестнадцати

тысяч прекрасной пехоты.

Раглан встретил эти слова союзника не то чтобы недоверчиво, но без большого воодушевления; скорее просто холодно. Он заметил, не повышая голоса:

— Отборные люди каждого полка составят в общем отборный корпус, но тем печальнее будет, если и этот отборный корпус станет жертвою эпидемий. Между тем есть в газетах толки о каких-то мирных переговорах, которые ведутся за нашей спиной... Если бы это было так и если бы наши правительства обнаружили мудрую уступчивость, это было бы гораздо лучше, чем присылка нового корпуса... Между тем Омер-паша потому только будто бы задерживает свою армию, совершенно готовую к высадке в Евпатории, что английские и французские офицеры плохо обращаются с турецкими солдатами... думает ли он, что лучше обращается с ними кровавый понос, холера и пятнистый тиф? Они то и дело таскают своих покойников на кладбище.

— Думаете ли вы, милорд, что этот план высадки турецких войск в Евпатории может произвести перелом в войне? — спросил Канробер.

— Ах, мой друг, я уже перестал и давно уже перестал видеть что-нибудь впереди в розовом свете! Тем более что со дня на день жду, что меня отзовут, как лорда Дондаса, — с горечью ответил Раглан. — Что же касается вообще войны с русскими, то мне вспоминается сейчас правило лорда Нельсона^{53} сражаться с русскими посредством искусных маневров, а не прямым нападением в сомкнутых рядах. Если турецкая армия не будет сидеть в Евпатории, когда там высадится, а постарается зайти в тыл князю Меншикову, то, пожалуй... Хотя на турок я совсем не надеюсь. Это ленивый и какой же грязный народ! Посмотреть только, что они сделали с Балаклавой! Совещание двух главнокомандующих на этот раз не затянулось и не привело к каким-либо важным решениям. Когда же Канробер возвращался к себе, он слышал, хотя постарался сделать вид, что не слышит, выкрики из кучек толпящихся у барачков своих солдат.

— На штурм! Ведите нас на штурм, генерал!

А из одной кучки, где были зуавы, раздалось очень громкое площадное ругательство.

Канробер сделал вид, что не слышит и этого, и только поторопился проехать скорее мимо. До него уже доходили слухи, что солдаты им недовольны и даже заявляют, что желали бы видеть вместо него главнокомандующим Кавеньяка, или Бедо, или Ламорисьера, или Шангарнье, оставшихся во Франции, или, наконец, Боске, который был с ним здесь, но имел слишком мало власти для того, чтобы вести их на приступ и тем закончить войну.

Глава седьмая. Николай нервничает

I

Все при дворе готовились к смерти императрицы Александры Федоровны, но она предпочитала оставаться в довольно устойчивом положении между жизнью и смертью, часами лежала с закрытыми глазами, хотя и без сна, слегка стонала, когда прикасались к ее телу, внимательно глядела в лица придворных медиков и с гримасой крайней брезгливости глотала подносимые ей лекарства.

Она уже перестала верить в медицину, после того как все известнейшие врачи Европы, которые ее лечили, не могли сойтись на чем-нибудь одном при определении ее болезни. Как ни был узок и беден ее духовный мир, но, раз отказав медицине в кредите, она уже оставалась верна этому убеждению и, лежа с закрытыми глазами, шептала обрывки молитв, приходившие ей на память, готовая уже переселиться в селения праведных.

Между тем наступало 6 декабря, день торжественного празднования тезоименитства Николая, день, знаменовавшийся вот уже почти три десятка лет не только грандиознейшим парадом войск на Марсовом поле, но еще и наградами по ведомствам военному, гражданскому и духовному.

Еще в ноябре заготовлен был указ, которым предполагалось обрадовать всех вообще защитников Севастополя в день царских именин, и Николай тогда же писал об этом Меншикову:

«Считаю справедливым велеть тебе объявить всем войскам, составляющим гарнизон Севастополя, как сухопутным, так и морским,

что, в признательность за их беспримерное мужество, усердие и труды в течение сего времени, я велел им зачесть каждый месяц за год службы по всем правам и преимуществам. Они этого вполне заслуживают, и объяви это на 6 декабря. Ты скуп представлять о наградах; прошу тебя, дай мне радость наградить достойных».

Нужно заметить, что никогда раньше так не тянуло Николая к письменному столу, как во время Крымской кампании. Всегда до того чувствовавший себя в силу своего самодержавства далеко от житейских слабостей, теперь он с каждым днем все более и более, острее и острее чувствовал, что почва под ним колеблется и, пожалуй, вот-вот все рухнет!

Восстание декабристов в самом начале царствования страшно ошеломило его, но оно закончилось и было раздавлено в один день; восстание Польши в 1831 году достаточно испугало его, но он был тогда уверен в своих военных силах, стоило только их стянуть в направлении на Варшаву. Теперь было совсем не то: в дополнение к весьма тяжелому настоящему можно было с большой долей вероятности ожидать более тяжкого будущего.

Приступы сильнейшего негодования стали все чаще сменяться в нем приступами растерянности, когда он становился похожим на анекдотического генерал-губернатора, очутившегося на медвежьей охоте один на один с огромным медведем, вылезшим перед ним из берлоги. Генерал-губернатор этот, вместо того чтобы стрелять, закричал привычно: «Полиция! Взять этого негодяя!» Николай, конечно, не кричал по-генерал-губернаторски, — слишком велико было расстояние между ним и театром войны, — но его письма к Меншикову были не более как тот же крик растерявшегося властелина, а письма к Горчакову и Паскевичу были переполнены то жалобами, то надеждами на божью помощь.

Выходило очевидным даже для него, не страдавшего дальновидностью, что целую жизнь перед ним трепетали и его славословили, а в минуту очень серьезной опасности ему не на кого было опереться.

Меншикову писал он чуть ли не ежедневно, давая приказания в виде просьб и предъявляя требования в виде скромных пожеланий.

Он считал себя — и, пожалуй, не без основания — сведущим в фортификации и минном деле, и когда Меншиков донес ему, что к началу декабря было построено в разных местах перед бастионами и батареями до двадцати ложементов, он писал Меншикову:

«Радуюсь, что приступлено местами к контрапрошам: мера эта спасительная в теперешнем положении, и надо, кажется мне, стараться продолжать подвигаться навстречу к неприятелю. Вылазки также прекрасное дело. Посмотрим, не выморозим ли тараканов».

Несколько раньше, получив от Меншикова донесение, что он, ожидавший общего штурма Севастополя после Инкерманского боя, несколько успокоился за его участь, Николай писал:

«С удовольствием вижу, что надежда твоя на сохранение Севастополя не исчезла и что по-прежнему геройский, молодецкий дух всех войск возрастает в мере угрожающей опасности. Грешно бы мне было в этом усомниться, но сердце бьется, читая рассказ об этом. Хотелось бы к вам лететь и делить участь общую, а не здесь томиться беспрестанными тревогами всех родов».

Тогда вопрос о доставке пороха в Севастополь был несколько улажен, главным образом тем обстоятельством, что на складе адмиралтейства «нашлось» около двадцати семи тысяч пудов, и Меншиков, до этого беспрестанно требовавший пороха от военного министра Долгорукова, донес, наконец, что порохом на ближайшее время он обеспечен. Николай ответил ему:

«Благодарю, любезный Меншиков, что поспешил меня успокоить насчет крайних моих опасений о недостатке пороха; кажется, что теперь эта важная статья обеспечена. Надеюсь, что мы в состоянии будем не уступить неприятельскому огню, ежели бы возобновился с прежней силой, чего весьма ожидаю. Из всего, что до меня доходит сюда и что от тебя получаю, я все более убеждаюсь, что план врагов: выигрывать время, претерпеть, доколь не удвоятся их силы всем, что безостановочно к ним посылается, и до собрания всех способов медлить, а потом возобновить, может быть с удвоенной яростью, бомбардировку, а быть может и атаку с трех сторон. Успеют ли в том, один бог знает. Вопрос: что тут нам делать? Разумеется, что это трудно решить, а в особенности мне здесь. Могу только указывать,

решение предоставляя тебе...»

И затем указывал чрезвычайно подробно и обстоятельно, на нескольких страницах письма, заканчивая его чисто личными мотивами:

«Теперь должен обратиться к другому и для меня тяжелому делу. Здоровье жены до того расстроено, что она не встает с кровати; слабость непомерна. Все это усилилось с отъезда детей. Отраднее было бы ей их обнять. Это возможным нахожу только в том случае, ежели военные действия не возобновились деятельно, ежели не предвидится скоро решительного действия. Наконец, ежели влияние их возвращения не произведет дурного впечатления на дух войск. Если всего этого нет, то дозволю им ехать к нам».

После этого-то письма великие князья и отправились в Петербург. Но, отослав это письмо, Николай на другой же день пишет снова Меншикову и снова о контрапрошах, то есть окопах, параллельных окопам противника впереди своих батарей:

«Кажется мне, что сомнения не может более быть в настоящем намерении неприятелей выиграть время и усовершенствовать свои осадные работы и укрепление своих позиций. Желательно сему сколь можно препятствовать: думаю, что контрапроши один способ...»

Но, кроме военных действий непосредственно на подступах к Севастополю, над Николаем висела, как постоянная угроза, возможность высадки большой армии интервентов в Евпатории или где-нибудь в другом месте Крыма, как об этом писалось неоднократно в иностранных газетах; затем могли быть отдельные нападения на тот или иной пункт побережья Черного, Балтийского, Белого морей или даже Великого океана, подобные нападению английских эскадр на Соловки и на Петропавловск-на-Камчатке. Два последние нападения, правда, были отражены, причем во втором случае даже с большими потерями у нападавших, но они всегда могли повториться. Кроме того, шла война с турками в Закавказье, при этом ожидалось, что туда отправится сам Омер-паша с большим десантом. Загадочно вела себя Пруссия, вызывая Австрия, наконец можно было ожидать восстания Польши, такого же, как в 1831 году.

Угрозы надвигались со всех сторон, и это их изобилие удерживало

Николая на месте — в Гатчинском ли дворце, или в Зимнем: донесения и известия поступали отовсюду, иные из них представлялись особенно важными и требовали немедленного распоряжения; кроме того, сидя на месте, можно было гораздо лучше взвесить все доводы за и против того или иного политического шага, как, например, обращение от имени канцлера Нессельроде о желательности начать мирные переговоры на основе четырех пунктов.

Затем важно было изыскивать средства для ведения войны. К внешнему займу прибегнуть было нельзя, внутренних же тогда в России не производили. Оставалось только два выхода: объявить сбор пожертвований на нужды войны и сделать усиленный выпуск кредиток. И то и другое было проведено в жизнь, причем благодаря усердию полиции добровольные пожертвования скоро обратились в принудительные, а кредитки обеспечивались государством только в шестой части их нарицательной стоимости.

Царь сам просматривал списки жертвователей, так как за особо крупные пожертвования ввел в обычай благодарить в официальном отделе газет. Но одно пожертвование однажды остановило его внимание. Какой-то отставной коллежский асессор Пустырев из Рязани, пожертвовав сто рублей, прибавил к этому обязательство «жертвовать по таковой же сумме ежегодно вплоть до окончания войны».

То обстоятельство, что среди его подданных есть люди, — еще и в чинах, — способные думать, что война продлится несколько лет, очень возмутило Николая, и он положил резолюцию против фамилии этого жертвователя, слишком пытливо и безнадежно глядящего в будущее: «Дурак или мерзавец? — Узнать!»

II

Списки пожертвований «на раненых воинов» и вообще «на нужды войны» были очень показательны для Николая тем, кто именно и сколько именно жертвует. Его вполне искренно изумляло, что жертвуют часто какие-то совсем невразумительно ничтожные суммы с копейками и даже с полушками на конце.

Он, конечно, отлично знал, что из-за копеек и полушек при казенных

отчетностях подымалась иногда целая переписка, стоившая десятки рублей и массы потерянных часов, он сам и поощрял даже такую сверхзаботу о каждой казенной копейке, которая не должна была пропадать бесследно, но он знал также и то, что в его царствование, всемерно радея о пользе службы, чрезмерно обогащались и высшие чиновники, и чиновники средних рангов, и военные, начиная с командиров рот, батарей и эскадронов, и духовенство черное и белое, и купечество, и помещики, если только были они не картежники, не кутилы, не круглые дураки.

Он знал, например, что граф Канкрин, бывший двадцать один год министром финансов, скопил себе на старость лет четырнадцать миллионов одними только банковскими билетами, не считая недвижимостей, и скопил, как оказалось, без малейшей помощи казнокрадства, благодаря отчислениям в его пользу весьма как будто скромных процентов по финансовым операциям его на благо царя и отечества. Так, например, будучи в отпуску за границей ввиду расстроенного здоровья, этот министр, тогда уже семидесятилетний старец, не только написал там на досуге пухлый роман на немецком языке, но умудрился еще и подготовить весьма выгодный заем... Надо же было достойно отблагодарить его за это!

Когда по полнейшей ветхости его пришлось принять прошение об отставке и Николай назначил на его место Вронченко, то учредил еще при этом новом министре особый «финансовый комитет» из трех лиц: князя Меншикова, графа Левашева и князя Друцкого-Любецкого, что дало повод Меншикову сострить: «Теперь ясно видно, сколько стоит один немец при дворе: двух русских, малоросса и поляка!»

Но Вронченко далеко не был так удачлив в финансовых операциях, как Канкрин. По его совету, например, было куплено на пятьдесят миллионов французской ренты, причем половина выплачена хлебом, половина слитками золота и серебра. Однако покупка эта совершена была в 1847 году накануне февральской революции и падения Людовика-Филиппа и французской ренты.

И все-таки Канкрин, этот действительно способный министр, был найден и утвержден министром не им, Николаем, а его братом, Александром, он же просто получил Канкринина по наследству и теперь,

в старости, на тридцатом году царения и в годину жестокой борьбы изумленно видел, что ему не удалось выпестовать ни одного по-настоящему большого государственного человека.

И Дибич и Паскевич, кроме титулов и аренд, получили по миллиону рублей за Турецкую кампанию 1828–1829 годов. Но спустя всего только два года Дибич показал свою полную неспособность, если не измену, в польской кампании; Паскевич был удостоен царских почестей за взятие Варшавы, тогда барабаны ему били «полный поход» при криках «ура», гвардейские батальоны салютовали знаменами, отдавая честь, и он сам, император Николай, вышел — это было на разводе в Михайловском манеже — ему навстречу и, сделав «на караул» шпагой, отрапортовал торжественно: «Князь Иван Федорович, благодарю вас именем отечества!..»

Не оказалось талантливых генералов к тридцатому году самодержавного владычества, и некого было послать на смену Меншикову, но по донесениям шефа жандармов всего только за три месяца войны офицерами разных чинов и положений послано из Крыма родным и в банки свыше восьми миллионов рублей «сбережений от жалованья».

Николай понимал, конечно, что если война с Наполеоном I в двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом годах обошлась России сто пятьдесят семь миллионов рублей, то Крымская война грозит совершенно истощить небогатые средства русской казны при условии, что она затянется года на два, как полагает, очевидно, какой-то Пустырев из Рязани. Миллионы будут отправляться из Крыма, полушки и копейки будут течь в Петербург.

Он ожидал, что дипломатический шаг, который он сделал через посредство барона Будберга, будет встречен совершенно иначе, чем его встретили правительства Англии и Франции. Однако вот уже пришли в Петербург и заграничные газеты, как и , в которых были напечатаны четыре пункта, но на то, что они будут приняты, не давалось никаких надежд.

III

Лет пятнадцать назад Николай очень увлекался постройкой новых

крепостных фортов Кронштадта. Они делались иногда под его личным присмотром из тесаного гранита и с таким расчетом, чтобы выдержать огонь из морских орудий наибольшего калибра и в свою очередь поражать любую точку лежащей перед ним площади моря.

Когда они были готовы, он сознательно показывал их лорду Кодрингтону и был весьма удовлетворен его отзывами о них.

— Я не хотел бы когда-нибудь получить приказ атаковать эти форты, ваше величество!

По серьезному и задумчивому лицу лорда Николай заметил тогда, что слова его были вполне искренни.

Теперь же он мог видеть из Ораниенбаума соединенную эскадру интервентов в виду Кронштадта, — картина, на которую смотреть ездили из Петербурга многие, чего запретить было им нельзя.

Правда, Непир все еще не решался приступить к бомбардированию Кронштадта, очевидно помня старинное положение, что одна пушка на берегу стоит целого корабля в море, хотя он же хвалился, отплывая от берегов Англии, «позавтракать в Кронштадте — пообедать в Петербурге». Однако удалить его с его флотом от подступов к столице не было сил, и это бессилие свое Николай переносил тяжело: он, жандарм Европы, очутился сам под крепким караулом, — так сразу и в корне переменялись роли.

Однажды на пути в Варшаву, весной, он едва не утонул в Немане, когда, по маршруту, нужно было переезжать эту реку ночью, как раз накануне ледохода. Тогда его вместе с неизменным его спутником графом Орловым спасли солдаты, стоявшие по пояс в ледяной воде, чтобы сдержать его санки и не позволить ему даже замочить ботфорты, когда он вылезал из саней на подсунутые с берега доски.

Этот случай весьма испугал его тогда; производилось следствие, не было ли тут злого умысла со стороны неблагонамеренных лиц, не замешаны ли в этом революционеры-поляки. Однако испуг за свою жизнь появился после, а там, на Немане, ночью он даже не почувствовал, не представил ясно, что мог утонуть, если бы не удалось задержать лошадей, если бы не так самоотверженно вели себя солдаты. Он спал перед этим, утомленный дорогой и ночной

темнотой, так же как и Орлов, а дежуривший при переправе офицер не успел предупредить его об опасности.

Николай часто вспоминал про себя этот случай теперь, когда ему тоже казалось, что он тонет, и не два-три десятка солдат, как там на Немане, а вся армия русская силится спасти его, но успеет ли в этом?

Внимательные путешественники в России подмечали с первого же взгляда то раболепство перед царем, какое пышно цвело при дворе среди людей знатных, очень высокопоставленных, колоссально богатых, которым, казалось бы, не было никакой нужды в этом раболепстве. Но дело было только в том, что множество людей при Николае именно раболепством и сделали себе карьеру. Если сам Николай любил нравиться тем, с кем он говорил, то еще естественнее было тем, с кем он говорил, стараться понравиться чем-нибудь и как-нибудь ему, самодержцу, от которого зависело возвысить или унижить. Если он сам любил позировать художникам в две трети фаса, так как при таком повороте лица нравился себе больше всего, то каждому из его подданных не оставалось ничего больше, как в себе самих отыскать те же самые две трети фаса.

Зато каждое слово похвалы его кому бы то ни было мгновенно подхватывалось решительно всеми при дворе и сразу, как магический ключ, открывало счастливцу двери во все сердца; стоило только раскрыть для кого-нибудь свои объятия царю, и избранник фортуны терял уже счет объятиям, которые кругом для него открывались, и радостным восклицаниям, которыми его встречали всюду.

И, наоборот, все сразу становилось холодны к тем, кого постигла царская немилость, их не замечали, переставали их узнавать, может быть боялись даже показать, что с ним знакомы, чтобы это не стало известно и при дворе.

Все доносили и всё доносили; не опасаясь доносчиков, можно было говорить разве только с самим Николаем.

Но царь, присвоивший себе такую исключительную полноту власти, должен был не казаться только, а действительно быть всемогущим, — это понимал Николай. Он терпеть не мог латыни, которую вздумали преподавать ему в его отроческие годы, но он знал историю Августа^{54}, счастливого во всех своих начинаниях до конца своих

дней. Он привык считать себя именно русским Августом и даже в любви своей к строительству находил это сходство с первым из римских цезарей.

И вот рухнуло это сходство. Границы государства оказались в опасности. Назойливо стало лезть в голову сравнение с положением Фридриха II, которому также пришлось бороться с коалицией сильнейших европейских держав, Фридриха, перед которым благоговели его дед, его отец, часами просиживавший перед его портретом, наконец его мать, всячески старавшаяся всем своим детям внушить преклонение перед этим королем Пруссии.

Но Николаю роль Фридриха II всегда казалась и слишком суетливой и не совсем благодарной, мелочной. И хотя он часто говорил: «Расстояния — вот язва России», но особенной горечи не вкладывал в эти слова, и как бы ни малы были расстояния Пруссии по сравнению с Россией и тем самым удобнее для сношения со всеми ее границами из центра, все-таки он не променял бы корону России на корону Пруссии и Петербург на Берлин.

Он даже любил называть себя самым русским из всех русских царей после Петра, хотя солдаты гвардии, говоря между собою, окрестили его Карлом Иванычем.

Бывает, что при своих личных несчастиях и неудачах люди несколько утешаются, когда слышат о неудачах, постигающих их врагов.

Когда в газетах, пришедших из-за границы, появилось известие о внутреннем займе, затеянном Наполеоном ввиду военных нужд, Николай втайне надеялся, что затея эта лопнет, как мыльный пузырь. Кому во Франции нужна была война с Россией, кроме самого Наполеона? Последний посланник Франции в Петербурге, генерал Кастельбажак, уверял, что подобная война была бы очень непопулярной.

Но вот депеша по проволочному телеграфу от Паскевича из Варшавы через Киев принесла первое известие, как слух, что заем в пятьсот миллионов франков, объявленный Наполеоном так, казалось бы, самонадеянно, перекрыт в четыре с половиной раза благодаря участию в нем английских, бельгийских, голландских банкиров.

Это известие Николай болезненно воспринял, как проигрыш Меншиковым нового большого сражения, гораздо более грандиозного, чем Инкерманское.

IV

Именины Николая праздновались при дворе скромнее, чем обычно: это связывали не столько с войною, сколько с болезнью императрицы. Это странное существо, не раз уже умиравшее так же длительно и трудно, чтобы потом неожиданно для всех подняться совсем почти невесомой и с трясучей головою, но деятельной и даже способной ехать за границу лечиться, часто спрашивало окружающих ее камер-юнгфер, приехали ли из этого страшного Севастополя ее дети. И когда дня через два после именин отца они действительно приехали, она тут же, повидавшись с ними, попросила снять себя с кровати и посадить в кресло лицом к окну.

Ее посадили, обложив со всех сторон подушками, и, слишком чадолюбивая для того, чтобы умереть, она решила с этого дня начать свое новое возвращение к жизни. Николай же принялся подробнее расспрашивать сыновей о том, какими они оставили Севастополь, Меншикова, войска, флот, батареи союзников. Расспросы были таковы, что требовали обширных и точных знаний: младшим сыновьям царя стало видно, что их отец следит отсюда, из Петербурга, за всякой мелочью севастопольской обстановки.

Когда же речь зашла о главнокомандующем и Михаил, более непосредственный, чем его брат, которого, между прочим, в семейном кругу звали Низи, обрисовал отцу состояние Меншикова и передал его просьбу об отставке, царь нахмурился и сказал:

— Этого еще недоставало! Не думал я, чтобы в такой короткий срок мог он в такой степени износиться! Но отставку все-таки придется пока отставить, потому что всякий другой на его месте будет еще хуже вести дело, чем он. У него-то по крайней мере есть хотя здравый смысл в голове, а у других и этого не найдешь. Пусть хоть на диване лежит в халате, да чтобы главное руководство было его... В сущности ведь в моем распоряжении имеются всего только два генерала, на которых я могу положиться...

— Кто же такие, папа? — спросил Низи, когда отец замолчал и задумался.

— Эти два генерала — Генварь да Февраль, — без улыбки ответил Николай, и оба сына его поняли, что надежд на победу в этой войне у него мало, если он вполне как будто серьезно думает, что союзников можно «выморозить, как тараканов», и они один перед другим пустились успокаивать отца единственным, чем могли, — духом войск.

— Дух войск моих хорош, конечно, это я знал всегда и теперь знаю, — слышал от своих флигель-адъютантов не один раз, — сказал Николай, — но одного духа войска в такой войне, какую мне навязали, все-таки мало... За три месяца, считая с боя на Алме, пороху вышло столько, что могло бы хватить на три хороших войны в прежнее время, а порох везти приходится из Киева, из Шостки, из других мест за несколько сот верст, а то и за тысячу даже!.. А на чем везут? На быках!.. Также и снаряды!.. Мерзавцы из двух английских компаний добивались у меня разрешения вести на свои средства дорогу от Москвы на Нижний, наподобие того, как граф Бобринский провел от Петербурга на Павловск... Спрашивается, почему же именно им хотелось на Нижний, а не на Курск и Харьков? Теперь-то я вполне понимаю этих негодяев! А они ссылались на то, что дорога на Харьков была будто бы малоходна. Дело же тут было совсем не в них, а в их господах, которые в Лондоне и которые теперь воюют со мною! Поэтому-то и невыгодно им было вести дорогу на Харьков... Но у нас были и свои голоса против железной дороги из Петербурга в Варшаву, когда я четыре года назад передал этот вопрос на обсуждение комитета. Граф Гурьев тогда высказывался против, а другие пошли петь с его голоса: «Подождем, когда московская дорога покажет, насколько она будет выгодна...» Ждать? — вдруг крикнул резко Николай. — Чего же именно ждать?.. Вся Европа покрывается сетью железных дорог, и в случае внезапной войны там, на западной границе, не только Варшава, а и все западные губернии наши наводнятся их войсками, а наши за это время и от Петербурга до Луги не успеют дойти! Хорошо, что я не поглядел на умников из комитета и приказал начать строить дорогу на средства казны!

Михаил и Низи знали, что председателем этого комитета, о котором

говорил с такой горячностью и гневом отец, был не кто иной, как их старший брат Александр, наследник-цесаревич; они только переглянулись и промолчали.

Михаил и Низи понимали, что отец их был теперь в таком состоянии, что всех кругом готов был обвинять в неудачах войны, как это бывает едва ли не с каждым при несчастьи. Они видели и то, что он заметно осунулся за время их отлучки, — пожелтело лицо, впали несколько щеки, даже голос стал как-то глуше, и заметнее сделались складки под круглым сизым подбородком...

Можно было даже подумать — не заболел ли?

V

Как бывало это ежегодно, награды по случаю именин царя обрадовали одних, опечалили других, получивших не то, что они надеялись получить, наконец были и совсем обойденные при этом. Эти последние переносили свои упования на 1 января.

Но между 6 декабря и 1 января был день, который праздновался как подлинное восшествие на престол, хотя официально это событие — «восшествие» — было приурочено к 20 ноября. День этот был, конечно, день восстания на Сенатской площади, когда судьба династии Романовых висела на волоске, и волосок этот не замедлил бы оборваться, если бы руководители восстания сумели его подготовить и провести.

Николай всегда праздновал этот день особенно торжественно, но в этом роковом году обстоятельства складывались так, что заранее нарушалась спокойная уверенность в будущем, необходимая для особо праздничных настроений.

Прежде всего и важнее всего был вопрос о четырех пунктах мирных предложений, на которые все еще ожидали ответа, и по этому поводу Николай долго совещался с руководителем своей внешней политики, семидесятипятилетним канцлером Нессельроде.

Доставшийся Николаю в наследство от старшего брата, так же как и Канкрин, Карл Вильгельмович Нессельроде стоял на страже русских интересов почти полвека, умудрившись так тесно связать их с интересами Австрии, что развязать их, и то далеко не вполне, суждено

было только Восточной войне.

Это был едва ли не единственный в истории дипломатических отношений европейских стран пример, чтобы министр огромного государства во всем и навсегда подчинялся бы влиянию министра другого, соседнего государства, сравнительно небольшого по размерам; в таком подчинении у Меттерниха был Нессельроде.

Меттерних мог убедить его в чем угодно, даже и в том, что греческое восстание двадцатых годов необыкновенно опасно для России. Под непосредственным влиянием и по горячим настояниям Нессельроде Николай пустился спасать Австрию от восставших венгров. Если бы на месте Нессельроде был другой министр иностранных дел, события могли бы сложиться по-иному, но Николай был слишком консервативен, чтобы сместить своего советника, к которому, вполне естественно, он привык уже за несколько десятков лет. Кроме того, ему и самому всерьез казалось, что Австрия нечто вроде придатка России, как гоголевскому Поприщину думалось, что если сказать «Испания», то это и будет Китай.

Австрия отплатила Николаю за свое спасение в 1849 году черной изменой; чудовищная осада Севастополя удручающе тянулась; Нессельроде продолжал оставаться у кормила правления.

Маленький и в молодые годы, канцлер теперь под бременем лет усиленно рос книзу. Женившись еще в 1812 году на дочери тогдашнего министра финансов графа Гурьева, особе величественных форм и крутого характера, Нессельроде потерял ее, разбитую параличом лет пять назад, и теперь единственную привязанностью старичка были туберозы, гладиолусы, корилопсисы и другие цветы его обширных оранжерей.

Говорил по-русски он так же плохо, как и Канкрин. Власть его в государстве была, конечно, громадна, но, несмотря на это, он казался только пажем своей жены в ее салоне. Рыжий Михаил Павлович, брат царя, называл ее не иначе, как: «Это настоящий господин Робеспьер», — так совсем не по-женски была сурова ее внешность и так велико ее презрительное высокомерие ко всем, кто был с нею мало знаком. У себя же в гостиной она принимала всех, каково бы ни было их положение в свете, самым легким, едва заметным кивком головы,

полулежа при этом на диване. Если она достаивала кого-либо из гостей своим разговором, то это был разговор только на политические темы. Она говорила иногда, впрочем, и о высшей администрации, но исключительно в отрицательном духе, а распоряжения правительства встречали в ней критика самого придирчивого, жестокого и ядовитого. Конечно, около этого подлинного канцлера в юбке с годами образовался кружок избранных людей, немногочисленный, но весьма сильный по своему влиянию на государственные дела. Враждебное же отношение Нессельродши к кому-нибудь обыкновенно приводило к самым серьезным последствиям.

Дочь свою она выдала за саксонского барона Зеебаха и часто уезжала за границу.

Этот Зеебах был посол Саксонии в Париже и иногда извещал своего тестя о настроениях при дворе Наполеона. Но ничего утешительного по поводу последнего обращения начать мирные переговоры Нессельроде от зятя пока не получил, хотя в четыре пункта обращения было вложено именно то, что требовали западные державы в августе, перед отправкой десанта в Крым. Напротив, получилось известие о том, что Австрия заключила договор с Францией и Англией, а с другой стороны Кавур, премьер-министр Сардинии и Пьемонта, объединенных королем Виктором-Эммануилом, вступает в союзные отношения с коалицией враждебных России держав и обещает им помощь войсками в их борьбе с армией Меншикова.

Сложную и неприятно для него сложившуюся обстановку на Западе Николай хотел выяснить при помощи своего старого канцлера.

У всякого, кто мог бы совершенно незамеченно заглянуть в кабинет Николая в то время, когда он принимал доклад Нессельроде, совершенно произвольно заиграла бы на лице улыбка при виде двух таких несоразмерных фигур за одним столом: детски крохотного канцлера и колоссально огромного царя.

Соответственно фигуре и голос Нессельроде был пискливый, цыплячий, когда он говорил, поблескивая стеклами круглых очков:

— Князь Шварценберг{55}, разумеется, хотел бы сделать все, что можно, в пользу мира, но он истощает свои усилия в борьбе с

непреклонным желанием Англии продолжать войну, чего бы это ей ни стоило, ваше величество, хотя стоит это ей уже и теперь очень много... Император же Франции имеет цели менее реальные и, я бы сказал, просто желает приобрести себе больше весу для некоторых дальнейших своих планов в Европе, а не в России, конечно, — в Европе и, пожалуй, в Африке...

Говоря это (разговор шел на французском языке), канцлер разводил и приближал к груди ручки, как маленький паучок, снующий по своей паутине.

— Меня интересует договор, заключенный князем Шварценбергом с союзными державами, — перебил его царь. — Какая суть этого договора? Австрия набивается в члены союза?

— Нет, государь! По всем данным, какие находятся в моем распоряжении, суть этого договора только в том, чтобы совместно обсуждать меры, какие можно будет принять державам-союзницам в случае, если мир не будет заключен до нового года.

— До нового года? До нового года остаются уже считанные дни, — и, значит, это условие можно отбросить... Что же означает «совместно обсуждать меры, какие можно будет принять»? — И Николай высоко поднял седеющие брови в знак полного непонимания этой фразы. — Обсуждать меры можно, кажется, только с союзником, а не с посторонним, не так ли?

— Беру на себя смелость, государь, уверить вас, что Австрия воевать против вас не желает и не будет, — пропищал Нессельроде, приложив руку к сердцу.

— Ты мне говорил это не один раз и раньше, — перешел на русский язык Николай, — и, однако же, войска Австрии приковали мои войска к Бессарабии, и, как последствие подлой политики Шварценберга, между прусским королем и мною бежит уже черная кошка...

— Государь! Но ведь Австрия вполне одобрила все четыре пункта наших условий! — выставил сложенные лодочкой ручки Нессельроде.

— Ну, еще бы, — когда эти пункты составлены самим Шварценбергом! Итак, о близком мире нечего больше говорить... А что нужно в Крыму Кавуру с его сардинцами? Этого, признаться, я не понимаю!

Небольшое личико канцлера сделалось очень озабоченным.

— Этот Кавур, ваше величество, мне кажется, доставит со временем много хлопот не кому другому, как императору Австрии. Этот Кавур ищет себе союзников для своих целей. Ему совершенно безразлично, с кем воюют Франция и Англия; ему нужны только сильные покровители. Сколько может выставить в поле какая-то там Сардиния? Одну дивизию, не больше. И дивизия эта, может быть, — я говорю: «может быть», государь, — будет доставлена в Крым, и дивизия эта погибнет в Крыму, но за эту ничтожную цену думает Кавур купить себе и своему королю покровительство Франции и Англии в тяжбе своей будущей с кем же? С Австрией, конечно, которая владеет всею северной Италией. Этот Кавур молодой еще политик, но он далеко смотрит вперед, государь! Он будет, кажется, гораздо опасней для Франца-Иосифа, чем революционер Мадзини{56}! Он хочет собрать всю Италию под власть своего короля Виктора-Эммануила... И наши севастопольские пушки должны будут помочь ему в этом, — так он, кажется, думает, этот Кавур!

— Гм... А если к союзу их пристанет и Австрия, в каком же тогда будет он положении? — И, не дожидаясь ответа своего канцлера на этот вопрос, Николай добавил: — Я думаю, что наступило время объявить сбор ополчения... для начала хотя бы в пяти-шести губерниях... По двадцать — двадцать пять человек с тысячи населения... Я, конечно, уверен, что мой близкий родственник и друг прусский король не против меня вздумал произвести пробную мобилизацию своей армии, но я не забываю все же о происках Австрии. Между тем если прусская армия мирного времени сто пятнадцать только тысяч, то в военное время она может учетвериться. При хорошем вооружении и при хороших генералах, какие имеются в Пруссии, в чем я не раз убеждался, это будет очень сильная армия... Кстати, мне кто-то говорил, что Кавур — блондин и гораздо больше похож на пруссака, чем на итальянца... Если это так, то над этим следует подумать.

Нессельроде не знал, как ему следует отнестись к последним словам царя, и смотрел на него пристально-выжидательно. Что касалось набора ополчения, то он считал его преждевременным и даже, пожалуй, не совсем безопасным для внутреннего порядка в империи. Относительно же прусского короля Фридриха-Вильгельма IV, брата

императрицы Александры Федоровны, он боялся уже утверждать, что преданность его русскому царю непоколебима. Кстати, он припоминал и то, что сделалось ему известно сравнительно недавно: болезненные явления, угнетавшие прусского короля, сверстника императора Николая, врачи определили, как разжижение мозга; все большее участие в управлении Пруссии начинал принимать младший его брат Вильгельм, и при дворе выросла сильная военная партия.

В 1817 году принц Вильгельм вместе со своею сестрою Шарлоттой, тогда только еще невестой великого князя Николая, отправлялся в Россию, сопровождаемый генералом Натцмером. Сам Вильгельм, может быть, получил от своего отца Фридриха-Вильгельма III только отеческие наставления, как ему следует вести себя в таком высоком обществе, как двор победителя Наполеона, императора Александра, но генерал Натцмер — строжайшую инструкцию, написанную для него королем, о том, что ему следует говорить, как представителю прусской политики. А генерал Грольман, глава генерального штаба Пруссии, вручил Натцмеру особую записку, рекомендующую ему узнать, насколько сильно укреплены русские города: Рига, Псков, Новгород, Нарва и Ивангород...

Так что если еще в 1817 году и как раз в торжественный такой момент, когда союзные отношения скреплялись выгодным браком, правительство Пруссии соображало, насколько прочна русская граница, то, конечно, теперь через сорок лет после наполеоновских войн накопилось в Пруссии достаточно сил, стремящихся найти себе применение.

Эти силы не удалось повернуть против Наполеона III, но кто может ручаться за то, что Наполеону не удастся направить их теперь в сторону Риги, Пскова, Новгорода?

Нессельроде понимал, что от него требовалось успокоить царя именно в этом, что со стороны Пруссии не будет такой же измены Священному союзу, как со стороны Австрии, и он сказал, наконец:

— По моему крайнему убеждению, государь, у Пруссии все-таки нет причин для войны с нами.

— А я, должен тебе сказать, готовлюсь к самому худшему! — резко сказал Николай. — Я уже ничуть не сомневаюсь, что король прусский

пристанет к нашим врагам, и весьма скоро это может случиться!.. Ты не видишь причин! А Польша? Получить часть Польши взамен своих услуг — разве это не достаточная причина?.. Ведь между Францией, Англией и Австрией условлено отнять у меня Польшу, — об этом пишет мне князь Варшавский{57}, значит это и было предметом договора между ними!

Нессельроде постарался изобразить на своем маленьком сухоньком личике не только изумление и испуг, но даже и возмущение, однако сказал, поднимая руки:

— Но, может быть, князь Варшавский передал вашему величеству только слухи, которые ходят в самой Варшаве? Варшава — это город экзальтированный... Конечно, можно, пожалуй, опасаться там восстания, подобно тому, какое...

— С этим ты все-таки согласен, что может быть и восстание? — перебил Николай. — Князю Варшавскому там, на месте, виднее, чем нам тут, и он, не забывая о восстании, видит еще и войну... Он просит создать для него еще одну армию против Каменец-Подольска, чтобы сдерживать австрийцев, и он вполне прав, разумеется. Если врагам нашим удастся отнять Польшу, мы потеряем почти пятнадцать миллионов населения! Если им удастся проникнуть в Новороссию, мы потеряем весь юг России, кроме того, что нам придется проститься с Крымом!.. На Петербург готовится нападение тоже, как это тебе известно...

— Может быть, это только досужие выдумки журналистов, государь? — попробовал возразить Нессельроде.

— Ты в это поверишь, когда увидишь! Но Петербург я все-таки надеюсь отстоять с теми силами, какие у меня здесь имеются! — выкрикнул Николай, выкатив глаза. — Петербурга им не видать, как своих ушей! А защита центра России лежит на князе Варшавском... Хотя, между нами говоря, он стар, он становится очень слаб... Он очень много неприятностей перенес в последнее время и несчастий... Сгорел его Гомель. Один за другим умирают его дети... Но пусть хотя бы общее руководство защитой, — в этом мне его заменить решительно нечем. Он знает свою армию, и армия знает его... Он найдет себе дельных помощников. В крайнем случае можно бы было

пожертвовать Бессарабией, но не Польшей! Сбор дружин ополчения надо объявить в самом скором времени, потому что их еще надо подготовить, одеть, снабдить оружием, — это не делается в один месяц... Я надеюсь, что запасные дивизии, которые формируются теперь, могут быть готовы к марту, но по ходу дела видно, что дай бог дождаться их к июню.

Нессельроде слушал того, кого он видел еще когда-то, при императоре Александре, совсем еще зеленым юнцом, почти мальчиком, способным протестовать против занятий с ним древними языками тем, что вцепился зубами в плечо своего преподавателя, наступив ему при этом на ногу, чтобы он вырвался не так скоро. Этот слишком непосредственный юнец на глазах его сделался не только императором, но и стариком, однако прежняя непосредственность в нем осталась неперделанной, неукротенной. И вид у него такой, как будто и сейчас он готов на кого-то броситься, кому-то наступить на ногу, в кого-то вцепиться зубами... И хотя ему самому обстоятельства не казались столь мрачными, какими их рисовал самодержавный монарх России, так еще недавно диктовавший свою волю нескольким монархам в Европе, он вынужден был сказать, понизив голос:

— Если вы, государь, считаете, взвесив все доводы, что положение государства настолько опасно, то об этом надобно оповестить также и всех подданных вашего величества.

— Да, это представляется мне необходимым, — отозвался Николай, поднимаясь и вытягивая исподволь уже не гибкое огромное тело. — Манифест надобно составить, отпечатать и выпустить с таким расчетом, чтобы в Петербурге он был прочитан четырнадцатого числа... Ты говоришь: «Если вы считаете положение опасным...» А ты в какие же погружен сны или мечтания, что этого не видишь? Ты мне говорил как-то, что мы много теряем от блокады, что остановилась торговля с заграницей на морских путях... Много, да! Но то, что мы потеряем, когда допустим врагов в наши внутренние губернии, — неисчислимо! Ты забыл про Пугачевщину? Вспомни ее хоть четырнадцатого числа! В армии Наполеона I мало было людей, способных говорить с русскими мужиками... Поверь, что в армии Луи-Наполеона их будет гораздо больше, и в первую голову —

революционеры-поляки... Ты читал, я думаю, что пишут в иностранных газетах? — Что я должен уступить Швеции Финляндию по реку Кемь, Турции — Кавказ по Кубань, а Польшу непременно сделать свободным государством! Так называемое общественное мнение Европы на меньшем мириться не хочет! Или эти уступки, или Пугачевщина в России!..

Бледное до этого лицо Николая багрово покраснело, вены на шее вспухли, глаза округлились. Встревоженный канцлер робко смотрел на него, задрал седенькую плешивую головку, как деревенский мальчуган на звоняря, таинственным движением веревок вызывающего оглушительный трезвон на колокольне.

VI

В недоброй памяти день 14 декабря петербуржцы читали новый манифест Николая.

«Божию милостью мы, Николай Первый, император и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всенародно: Причины доселе продолжающейся войны вполне известны любезной нам России. Она знает, что не виды честолюбия, не желание новых, не принадлежащих по праву нам выгод были побуждением нашим в действиях и обстоятельствах, имевших неожиданным последствием настоящую борьбу. Мы искали единственно охранения торжественно признанных преимуществ православной церкви единоверцев наших на Востоке; но некоторые правительства, приписывая нам весьма далекие от мысли нашей своекорыстные, тайные намерения, препятствовали успеху сего дела и, наконец, вступили в неприязненный против нас союз. Провозгласив, что их цель есть спасение Турецкой империи, они действуют против нас вооруженною рукою не в Турции, а в пределах наших собственных владений, направляя враждебные удары свои на все более или менее доступные им места: в Балтийском, Белом и Черном морях, в Тавриде и на самых отдаленных берегах Тихого океана. Благодарение всевышнему, они везде, и в войсках наших и в жителях всех состояний, встречают смелых противников, одушевляемых чувством любви к нам и отечеству, и мы, к утешению нашему, в сих смутных обстоятельствах,

среди бедствий, неразлучных с войною, видим непрестанные, блистательные примеры и доказательства сего чувства и храбрости, им внушаемой. Таковы неоднократные, несмотря на неравенство сил, поражения неприятельских полчищ за Кавказом и совершенный, также с несоразмерными силами, отпор от берегов и шхер Финляндии, от стен обители Соловецкой и от гавани Петропавловской на Камчатке; такова особенно геройская оборона Севастополя, ознаменованная столь многими подвигами неодолимого мужества и неусыпной, непрерывной деятельности, коим отдают справедливость и удивляются сами враги наши. С умилением признательности к богу, взирая на труды, неустрашимость, самоотвержение наших войск сухопутных и морских и на общий всех сословий в государстве порыв усердия, мы имеем почитать их залогом и предвестием счастливейших в будущем событий. По долгу христианства мы не можем желать продолжения кровопролития и, конечно, не отклоним мирных предложений и условий, если они будут согласны с достоинством державы нашей и пользами любезных наших подданных. Но другой, не менее священный долг велит нам в сей упорной борьбе быть готовыми на усилия и жертвы, соразмерные с устремленными против нас действиями. — Россияне! Верные сыны наши! Вы привыкли не щадить ничего, когда провидение призывает вас к великому и святому делу, ни достояния, многолетними трудами приобретенного, ни жизни и крови вашей и чад ваших. Благородный жар, с самого начала войны пламенеющий в сердцах ваших, не охладится ни в каком положении, и ваши чувства суть также чувства государя вашего. Буде нужно, мы все, царь и подданные, повторяя слова императора Александра, произнесенные им в подобную нынешней годину искушения, с железом в руках с крестом в сердце станем перед рядами врагов на защиту драгоценнейшего в мире блага: безопасности и чести отечества.

Дан в Гатчине, в 14-й день декабря, в лето от рождества Христова тысяча восемьсот пятьдесят четвертое, царствования же нашего в тридцатое.

Николай ».

В этот день, как всегда в прошлые годы, царь приказал собраться в

дворцовой церкви всем бывшим офицерам (которые теперь, разумеется, были уж генералами), участникам подавления восстания декабристов; но кроме них, приглашены были все офицеры трех полков: двух гвардейских — Преображенского и Семеновского — и лейб-гренадерского, именно тех, которые помогли царю тогда, на Сенатской площади, спасти свою жизнь и удержать власть.

Было благодарственное молебствие, провозглашена была «вечная память боярину Михаилу», то есть графу Милорадовичу, убитому Каховским, и другим, павшим тогда со стороны защитников Николая, а после молебствия офицеры были собраны в большой Арабской зале, и здесь царь, картинно держа за руки своего сына и наследника Александра и своего внука Николая, которого в отличие от других Николаев в многочисленной царской семье звали Никсой, сказал отрывисто, резко, но не с теми привычными для слушателей начальственными оттенками в голосе, с какими обращался он всегда к офицерам:

— Благодарю вас за службу!

— Рады стараться, ваше величество! — по-солдатски гаркнули все офицеры.

Потом он повернулся к преображенцам, помня то, что Преображенский полк тогда, в 1825 году, первым пришел к нему на помощь:

— А вас, преображенцы, в особенности благодарю!

— Рады стараться, ваше величество! — гаркнули преображенцы.

— Вы знаете, каким странным случаем сблизились мы с вами в знаменательный для меня и для вас день, а потому мы составляем общую семью, и моя семья принадлежит вам, и вы принадлежите мне... Вот перед вами три поколения, — поднял царь руки сына и внука, — теперь вы видите, кому служить вам! Служите же им так, как вы служили мне, и ваши дети, надеюсь, будут служить моим так, как вы служили мне...

Тут голос Николая взобрался на большую высоту, сильно вибрируя при этом, и показалось всем, что он пойдет еще выше и польются какие-то еще неслыханные по своей значительности слова, быть может даже отречение от престола в пользу сына-наследника, но оборвался вдруг голос на высокой крикливой ноте, потом беззвучно

шевельнулись раза два губы под плотными закрученными, как всегда, серыми усами, и усиленно замигали веки, стряхивая слезы.

Голубоглазый Александр, уже тридцатишестилетний, но чрезвычайно почтительный к отцу, почти такой же длинный, как он, но гораздо тоньше в поясе и уже в плечах, справа от царя, и мальчик Никса, рослый для своих двенадцати лет, но неплотный, слева, повернули к нему головы, встревоженно ожидая, но он не сказал больше ни слова. Бравые преображенцы, семеновцы, лейб-гренадеры решили, что им, пожалуй, тоже не мешает прослезиться, поддержать царя, что это отнюдь не должно испортить торжественно начатого ритуала; и те, у кого слезы были близко, прослезились.

И на этом кончилась вся умилительная сцена. А через час после нее был обычный на Адмиралтейской площади парад всему гвардейскому корпусу, которым, после смерти Михаила Павловича, умершего от удара в 1849 году в Варшаве, тоже во время парада, командовал наследник Александр, так же как и корпусом гренадеров.

Казалось бы, можно было очень строгому на смотрах и парадах царю в такой знаменательный для него день посмотреть сквозь пальцы на кое-какие ничтожные погрешности в захождениях колонн правым или левым плечом вперед, держа «дирекцию направо», или «налево», или «на середину фронта», но он ведь собрался сам лично защищать столицу от вражеского нашествия, поэтому недостаточная вымуштрованность лошадей при захождениях пронизала его, как штуцерная пуля английского фузелера, поэтому он накричал сначала на кавалергардов, а вслед за ними на конногвардейцев и тут же приказал им повторить на следующий день на Семеновском плацу все экзерциции парада в его присутствии.

А петербуржцы, читавшие в это время манифест, не вполне ясно понимали, куда именно они должны идти «с железом в руках, с крестом в сердце».

Патетический конец манифеста, начиная со слов «Россияне! Верные сыны наши!», заставлял каждого искать объяснений такой явной тревоге, раздавшейся с высоты как будто чрезвычайно устойчивого, не подверженного никаким тревогам престола.

Недоуменные спрашивали на улицах и в домах:

— Что же это за обращение к «россиянам»? Ведь это уж вроде как было при Минине и Пожарском: «Заложим жен и детей!..» В виду чего же и кого же именно приходится нам это делать? Кто еще идет на Россию?

Им отвечали те, кто считали себя знатоками мировых событий:

— Да ведь во всей Европе пока один только папа римский не бряцает оружием против России и то в надежде на скорое соединение церковью католической и православной! А кроме него, решительно все бряцают. С медведя, говорится, и шерстинка приятна!

Непонимающие начинали строить догадки:

— Поэтому можно ожидать, что повсеместный будет объявлен сбор денег и прочего, а также и людей в армию?

И знатоки отзывались на это категорически:

— Всенепременно-с!

Глава восьмая. Шумный тыл

I

На улицах Симферополя то и дело раздавались зычные отрывистые крики:

— Во-от сбить медовой, сбить медовой! Налетай, солдат строевой! Бородачи с севера, в чуйках, подпоясанных красными или зелеными кушаками, в войлочных белых и серых шляпах-черепенниках, таскали на широких ремнях, закинутых на шею, перед собою сбить в горячих самоварах, к ручкам которых были привешены на проволочных крючках гремучие жестяные кружки.

Однако и местные татары, тоже окладистобородые, но в бараньих круглых шапках, скоро постигли нехитрое искусство варить этот любимый тогда напиток масс в зимнее время и тоже таскали такие же самовары, выкрикивая раздирающими душу голосами:

— Во-от кипито-ок! Во-от кипито-ок! Пади пагрей живото-ок!

Но и черепенничники нахлынули сюда из северных городов вслед за сбитушками, и на деревянных промасленных лотках, на подстеганных ватой картузах у них красовались эти канувшие ныне в

вечность любопытные сооружения из гречневой муки, имевшие вид небольших усеченных конусов, посаженных на лоток правильными рядами.

— И э-э-эх, черепа-еннички-и! — высочайшими фальцетами заливались черепенничники, и им вторили оладочники сиповатыми, но солидными басами:

— Аладиев горячих, ала-адиев!

В то же время татары возчики, продвигавшиеся на своих низкорослых клячонках, запряженных парой, по непроездно густо забитой возами и народом улице, надрываясь орали:

— Яваш-ява-аш!.. Яваш-ява-аш! Э-эй!

Фурштатские солдаты, сидя на передках громоздких, но прочных, зеленой масляной краской окрашенных казенных фур, то и дело застревая то в грязи, то среди других подвод, непередаваемо ругались во все горло так, что перед ними пасовали даже денщики, правившие за кучеров офицерскими колясками, бричками, линейками, причем оглобли всё норовили попасть в воловьи ярма и в них застрять, а колеса — сцепиться в тесноте с чужими колесами.

— Афиц-цер-красавчик, пагадаем!.. Давай сейчас пагадаем! — кричали, хватая за руки проходивших узенькими тротуарами офицеров, здешние, из Цыганской слободки, цыганки разных возрастов, в широких плисовых шароварах, завязанных у щиколоток шнурками, и в таких необыкновенно пестрых шалях, что даже в глазах от них рябило, они сами собою щурились.

Кричали ребятишки, которых чрезвычайно занимало все, что делалось теперь на их улицах, обычно, до войны, тихих и благопорядочных, — ребятишки разных национальностей: русские, татары, греки, евреи, армяне, караимы и прочие, разных диапазонов крикливости. Но все голоса на двух смежных центральных улицах покрывал редкостно могучий бас, доносившийся через открытую форточку, вместе с клубами табачного дыма, из гостиницы «Европа». Для всякого на тесных улицах было ясно, что голос этот принадлежал человеку, умеющему им владеть в совершенстве и знающему себе цену.

Бас гремел через форточку второго этажа гостиницы:

По у-улице довольно грязной

Однажды шел мужик Демьян...

Немножко пьян... Немножко пьян... Немно-о-ожко пьян...

Немножко пьян... Немножко пьян... Немно-о-ожко пьян...

Ему-у навстречу шла Евсевна,

Его законная жена...

Чуть-чуть пьяна... Чуть-чуть пьяна... Чуть-чу-у-уть пьяна...

Чуть-чуть пьяна... Чуть-чуть пьяна... Чуть-чу-у-уть пьяна...

Голос был потрясающий, буквально какой-то потоп звуков, но этот рефрен «чуть-чуть пьяна» певец отчеканивал коротко, наподобие барабанного боя, и вместе с тем сатанински лукаво, очень разнообразя в то же время каждую из этих одинаковых фраз, что изобличало в нем не просто певчего, но тонкого артиста пения.

И во-о-от сказал Демьян Евсевне,

Своей законнейшей жене:

Пойдем ко мне!.. Пойдем ко мне!.. Пойде-е-ем ко мне!

Пойдем ко мне!.. Пойдем ко мне!.. Пойде-е-ем ко мне!

Я угощу тебя там чаем,

И будем в козыри играть!

Тебе сдавать!.. Тебе сдавать!.. Тебе-е-е сдавать!

Тебе сдавать!.. Тебе сдавать!.. Тебе-е-е сдавать!

Дым из форточки валил гуще, слышался прорвавшийся, воспользовавшись паузой певца, дружный пьяный хохот многочисленных слушателей там, в гостинице, и снова покрыл и этот хохот и все уличные крики могучий бас, старавшийся теперь придать себе некоторую женственность интонаций:

На ко-ой мне черт твой чай и кофий,

И жареные су-ха-ри-и!..

Черт их дери!.. Черт их дери!.. Черт и-и-их дери!

Черт их дери!.. Черт их дери!.. Черт и-и-их дери!

А лу-у-тче бы на эфти деньги

Купил бы ты полштоф ви-ина!

У Фомина... У Фомина... У Фо-о-омна!

У Фомина... У Фомина... У Фо-о-омина!

Подъезжавший как раз во время этого пения к гостинице на совершенно измученных, мокрых, как из воды, еле переступавших

ногами лошадей профессор Пирогов, явившийся сюда из Севастополя наладить деятельность здешних лазаретов и сестер милосердия, уже работавших в них, покачал удивленно головой и сказал:

— Однако здесь что-то чересчур весело, в этой «Европе»!

II

Путешествие от Москвы до Симферополя, продолжавшееся в общем более трех недель, сестры «из общества», совсем не привычные к подобным подвигам, перенесли только при крайнем напряжении своих сил. Особенно трудным показался им путь от Берислава на Днепре, когда пришлось довериться серым украинским круторогим волам, как единственной скотине, способной вытащить их куда-нибудь из обступившего со всех сторон океана грязи. Но полное и как будто нарочитое, вполне сознательное отсутствие темперамента у этого вида животных совершенно выводило из себя сестер.

Напрасно начальница отряда Стахович, желая их ободрить, рисовала им привлекательные картины их будущего, говоря, например:

— Разумеется, *Mesdames*, врачи будут с нами учтивы... Они не будут нам ничего приказывать. Они будут говорить нам: «Будьте добры, сделайте то или это; сделайте одолжение, давайте через два часа это лекарство» (фр.).

Это помогало мало. В том, что врачи будут говорить с ними на изысканном французском диалекте, сестры «из общества» не сомневались; но дорога к этому утонченному обращению оказывалась из рук вон русской.

Ощущение последней степени физической нечистоты овладевало ими все больше и больше, сильней и неотвратимей, по мере того как они приближались к Перекопу, но от этого очень скромного, хотя и исторического местечка, где были казенные пакгаузы, а в этих пакгаузах скопилось множество пересылавшихся дальше раненых и больных солдат, до Симферополя было еще далеко. Волы запрягали по четыре пары в каждый тарантас, но как с ними ни бились, они не одолевали в час более трех верст. Это был предел их скорости. Сестры бывали рады, когда их заменяли верблюдами, которые действовали своими длинными ногами гораздо проворнее, но зато

швыряли им в тарантасы комки грязи, от которых не было спасения. На станциях было холодно, тесно, неудобно и тоже грязно до невозможности, если только они не бывали забиты сплошь проезжающими офицерами, которые хотя и выказывали большое внимание к сестрам, но создать для них свободное чистое помещение, где можно было бы отдохнуть, все-таки не могли, конечно.

Так что, когда сестры узнали, наконец, «что еще одна станция, а там уже и Симферополь», они почувствовали то же, что матросы Колумба при виде берегов Америки.

Правда, в первые два-три дня по приезде в этот административный центр Крыма и губернатор Адлерберг, сменивший генерала Пестеля, брата казненного декабриста, и начальник казенной палаты Княжевич, местный старожил и деятель, и полицеймейстер, и пристав — все пришли в движение и постарались устроить в донельзя переполненном городе отряд сестер, командированный свояченицей самого царя.

Но когда сестры несколько отдохнули на отведенных для них квартирах и привели себя в порядок, оказалось, что в невозможном беспорядке были восемнадцать здешних лазаретов, разбросанных по всему городу без плана и связи.

Это были или обыкновенные обывательские дома, покинутые хозяевами еще во время общей паники после боя на Алме, или казенные постройки, отданные под лазареты; но не всегда знало даже и медицинское начальство, где именно находится тот или иной лазарет. Врачей же было слишком мало, чтобы посещать их ежедневно; доходило до того, что иные из этих мелких заведений, считавшихся лечебными, по неделям не видели врачей.

Даже и воды иногда некому было подать больным и раненым: не было лазаретной прислуги. Когда же после очень долгой переписки присланы были для этой цели сюда из Херсона четыреста гарнизонных солдат, то оказалось, что им «забыли» выдать на руки при отправке так называемые аттестаты на довольствие, поэтому в Симферополе их на питание не зачисляли, хотя они и обращались всюду.

Истратив деньги на хлеб, они начали голодать и, наконец, все или

почти все сделались жертвами «пятнистой горячки».

Сыпняк царил в лазаретах, покрывая собою и все раны и все другие болезни, делая этим восемнадцать учреждений просто преддверием кладбища.

Ретиво взявшиеся за исполнение своих обязанностей — кто хозяйки, кто аптекарши, сестры даже и сами не знали, что они в первые же дни почти наполовину были заражены сыпным тифом.

Они переживали еще только скрытый период этой болезни, неразлучной спутницы войны и голода; они еще бегали по начальству жаловаться на те безобразия, какие встретили, и требовать всего необходимого для раненых и больных; торжествовала еще сестра Савельева перед другими, так как была счастливой обладательницей высоких мужских сапогов, очень, как оказалось, необходимых для посещения лазаретов благодаря грязнейшим симферопольским улицам; и монахиня Серафима наводила еще между делом справки о женских монастырях в Крыму, а уже были они во власти исподволь размножавшихся в них микробов.

Двух сестер — Лоде и Гардинскую — командировала Стахович в Севастополь к Пирогову с докладом о том, в каком состоянии нашла она лазареты. Только он один мог, по ее мнению, привести их в надлежащий вид, так как имел необходимый авторитет у начальства, генеральский чин и бумажку из канцелярии самого государя.

Маленькая Лоде, захватив с собой зонтик от непогоды, и Гардинская со своими четками в несколько рядов, заменившими ей браслеты, храбро ринулись в новый нелегкий путь. Их окрыляло то, что они первые из сестер увидят этот героический город.

За двое суток кое-как они дотащились, и пока были на Северной и смотрели на город и Малахов курган из почтенного далека, они только испытывали восторг и большой подъем. Но вот им сказали, что Пирогова они могут найти вернее всего в городе, на первом перевязочном пункте. Они переправились через Большой рейд на шлюпке. С огромной жадностью глаз оглядывали все кругом и уже с робостью, так как видели и зияющие окна, лишённые стекол, и разбитые стены, и вздыбленные балки на крышах, и ямы от снарядов, и ядра, которых никто не подбирал...

Между тем прохожих на улицах было не так мало, попадались даже и дамы. Это был период затишья: стрельбы не велось ни с той, ни с другой стороны. Они в своей необычайной форме и с золотыми крестами на голубых лентах, висящими поверх шубок, пользовались общим вниманием офицеров и дам и двигались не без горделивости.

И уже подходили они к дому Дворянского собрания, который не был еще очищен от раненых, когда услышали пушечный выстрел, отдаленный, но внушительный, и кто-то сзади них сказал: «Ядро!»

Они посмотрели в небо налево, куда глядел он, и увидели и обомлели обе: летело черное, круглое и прямо на них!

— А-ах! — вскрикнула во всю мочь Гардинская и присела на корточки.

— А-а-ах! — взвизгнула самозабвенно Лоде, припала на одно колено, дрожащими руками распустила зонтик и спрятала в него голову, замерев, как перепелка во ржи при виде ястреба в небе.

С лестницы собрания раздался звонкий молодой хохот: хохотали вышедшие подышать свежим воздухом Даша и Варя Зарубина.

Ядро шлепнулось в бухту, далеко сзади Лоде и Гардинской, а Даша и Варя помогли еле пришедшим в себя сестрам отыскать Пирогова.

III

Дым коромыслом стоял в гостинице «Европа».

Если отели Парижа ввиду близости Всемирной выставки 1855 года стремились расширяться, увеличивать число комнат, то симферопольские отели, врасплох захваченные войной, могли только уплотняться, и они уплотнялись до последних пределов возможности, как все почтовые станции на тракте Берислав — Севастополь.

Все комнаты были прочно заняты приезжими, платившими за них по самым высоким ценам, но в то же время в них довольно охотно впускались новые приезжие, причем говорилось приветливо: «Э, так уж и быть! Говорится пословица: «В тесноте, да не в обиде!..» Располагайтесь, как дома, кладите чемоданы к чемоданам! И милости просим к столу...»

А за столом в каждом номере гостиницы шла азартная карточная игра, и компания шулеров, часто в офицерских мундирах, ощипавшая уже одних доверчивых и наивных, естественно искала других, новеньких и

побогаче.

Шулера успели съехаться в Симферополь едва ли не из всех крупных центров России, потому что здесь было главное полевое казначейство, сюда шли миллионы, ассигнованные на нужды войны, здесь прилипало из них к рукам, сколько успевало прилипнуть, и расчеты шулеров, основанные на опыте многих поколений, ошибочными быть не могли.

Но вслед за шулерами, багаж которых был легок, а риск ничтожен, сюда съехались также и продолжали съезжаться поставщики на армию всех сортов, имеющие сложные дела и отношения с интендантством и комиссариатами, вносившие залогов, дававшие обязательства.

Эти, конечно, тоже не стеснялись высокими ценами на комнаты, — они были заведомо денежные люди, — но и они не прочь были потесниться, так как из разговоров, которые направлялись ими в нужную им сторону, умели чеканить монету и никакое знакомство ни с военными, ни со штатскими людьми не считали лишним.

Лошадиные барышники, смуглые, чернородые, большей частью люди в ловких боярках и картузах синего сукна, знающие наперечет все сколько-нибудь значительные помещичьи конские заводы на юге России и даже совсем незначительные хозяйства, где все-таки полюбительски выращивался конский молодняк, тоже съехались сюда, имея в виду хорошо заработать на неизбежном, конечно, в результате военных действий ремонте конского состава кавалерийских и артиллерийских частей.

Жрицы свободной любви, отчасти перекочевавшие сюда из Севастополя, отчасти собравшиеся здесь из других больших городов, тоже прочно осели в номерах гостиниц, считая их наиболее удобными для себя из всех вообще видов городских квартир.

Но оборотливые люди из обывателей, зная, что гостиниц в городе мало, и в чаянии больших доходов от своих домов, сжались сами, насколько могли, но приспособили их под меблированные комнаты с самоварами и услугами, и очень заметно на четвертом месяце войны как бы в две шеренги выстроились все более вместительные здания Симферополя: в одной шеренге — гостиницы и меблирашки, в другой — госпитали и лазареты; в первой — дикий безудержный разгул, во

второй — гангренозные раны, пятнистый тиф, смерть — несколько десятков смертей ежедневно.

Однако и смерть здесь была не бездоходная, как сплошь и рядом на позициях, а, как это всегда имеет место за ареной жизненной борьбы, она кормила многих обывателей: гробовщиков, извозчиков, могильщиков, попов, певчих и прежде всего тех, кто заведовал хозяйственной частью лазаретов.

IV

Пирогов, приехавший сюда на паре госпитальных лошадей, заранее знал, конечно, что нечего было и думать ему устроиться на несколько дней в лучшей из симферопольских гостиниц, и все-таки он, сойдя с коляски, вошел в «Европу». Ему сказали, что при гостинице имеется ресторация с буфетом, где можно было бы не только выпить рюмку водки, что не мешало сделать после трудной дороги, но и пообедать.

Кроме того, вполне естественно привлекал этот контраст беспечного тыла напряженному Севастополю, и даже любопытно было ему, анатому, узнать, кто был счастливым обладателем такой исключительно устроенной человеческой гортани, только что поведавшей миру о забубенной Евсевне.

Сестер Лоде и Гардинскую Пирогов отправил из Севастополя раньше, причем они убедительнейше просили его или оставить их в Симферополе, или если перевести их оттуда, то не дальше, как в Бахчисарай, — до того напугало их первое в их жизни ядро, какое они видели.

Пирогов был один. Он не взял с собою даже обычного своего спутника подлекаря Калашникова, оставив его в доме Гущина, куда распорядился отправлять всех безнадежных раненых с перевязочных пунктов в городе.

Тыловая жизнь была уж ему знакома по 1847 году, когда он состоял врачом Кавказской армии. Он наблюдал ее там в Пятигорске, Тифлисе и других городах. Но на Кавказе прежде всего нигде не было крупных военных действий и, значит, не было большого количества войск, как в Севастополе, сосредоточенных в одном месте, поэтому там тыл и фронт разнились в сущности очень мало. Наконец, там были только

набеги на аулы горцев, а не защита своей земли от очень серьезного врага.

Проезжая через Симферополь на пути в Севастополь, Пирогов не разглядел его — не было времени — и только теперь должен был познакомиться с ним вплотную.

Рослый швейцар в солидных седых бакенбардах при выбритом красном подбородке, как видно — из отставных гвардейцев, встретил Пирогова привычным для себя поклоном, но сказал скучающе:

— Свободных помещений, вашество, не будет-с.

— Очень это печально, мой друг, — отозвался Пирогов. — Но я думаю, что буфет у вас действует, а?

— Что касается буфета — работает-с, — сразу оживился швейцар и зашевелил руками. — Вот пожалуйста в ресторацию, вашество!

И он, изогнувшись в поясе, прошел между гладкими колоннами вестибюля внутрь первого этажа, сделав руками любезно приглашающий жест.

— А кто это, кстати, поет у вас тут так сердцещипательно? — шутливо спросил, направляясь за ним, Пирогов.

— Поет-с?

Швейцар сделал вид, что прислушивается, и пробормотал на всякий случай:

— Кажись так, нигде не поют-с, вашество!

Но не успел Пирогов сказать, усмехаясь:

— Ты, кажется, думаешь, что я новый полицеймейстер? — как снова грянул тот же сверхчеловеческий бас:

Настоечка двойная,

Настоечка тройная,

Сквозь уголь про-пуск-ная,

Восхи-ти-итель-ная!

Лишь стоит мне напиться,

Само собой звонится,

И хочется молиться

Умилительно!

— Это семинарист поет! — убежденно сказал Пирогов, остановившись между колоннами и воспользовавшись маленьким перерывом между

куплетами песни Ивана Мятлева, а певец уже громыхал, ощутительно напирая на колонны и на стены кругом потопом разлитого моря звуков, несшихся сверху, в пролет лестницы:

Тряхнул ль я в хороводе

При всем честном народе:

«Взбранной воеводе

Победительная!»

По тому, как неодобрительно качал головою швейцар, Пирогов видел, что ему очень не нравится такое бесчинство, а когда певец замолчал почему-то внезапно и Пирогов снова сказал убежденно:

— Семинарист! — швейцар дотянулся губами почти до его уха и пробормотал точно по секрету и сокрушенно:

— Еромонах-с!

— Еро-монах? Та-ак!.. Я прав, значит. Редко бывает, чтобы еромонахи не были раньше семинаристами... Как же он сюда попал к вам?

— В Севастополь едут-с... И вот загуляли-с... — развел руками старик.

— Мудреного ничего нет, что загулял, — успокоил его Пирогов. — А что в Севастополь — это неплохо: одной мортирой в Севастополе больше будет.

Он знал насчет обращения Остен-Сакена в синод по поводу присылки иеромонахов для напутствия умирающих солдат, но этот — явно было — предупредил Остен-Сакена и синод и ехал добровольцем, а что его в этом доме разгула одолели мирские соблазны, в этом Пирогов ничего удивительного не видел, так как соблазны здесь были действительно велики: стоило только заглянуть в двери ресторации, чтобы убедиться в этом.

Все столики залы здесь, не очень, правда, обширной, были заняты тесно, сплошь, и на каждом торчали, поблескивая, бутылки с вином и стаканы.

Все говорили в один голос — крикливо, пьяно, азартно; гул стоял одуряющий. Много было офицеров; много и дам — «этих дам». Воздух был густой, синий. Со входа лица казались как в тумане. Пахло табаком, вином, сыром и хреном, так как поросенок под хреном мелькал на тарелках в руках у половых здесь и там.

После унылой дороги весьма занятным казалось Пирогову это шумное

нетрезвое многолюдье. Он неторопливо пробирался по узенькому проходу между столиками к буфетной стойке, на которой заманчиво расставлены были на тарелочках закуски около водки разных сортов. Серыми, глубоко запавшими, небольшими, но зоркими глазами он пробежал при этом по лицам сидевших за столиками, не встретится ли знакомый по Петербургу ли, по Москве ли, по Кавказу ли, но не нашлось знакомого. Никто, по-видимому, не знал и его в лицо, по крайней мере никто не уделял ему больше одного беглого взгляда. И так, пожалуй, было лучше.

Одного в генеральских погонах заметил он, весьма перегруженного, огнедышащего, с лиловым носом; был важен, но весел — хохотал густо, запрокидывая почти голую голову, а сидевшая рядом с ним престолика дама в теплом, козьего пуха платке на голых жирных плечах вторила ему, звонко подвизгивая по-пороссячи.

Были тут и несколько человек в одинаковых теплых коричневого или синего драпа с черными гусарскими шнурами спереди венгерках, которые принято было носить в юго-западном крае. Эти деляги, — спиртом ли они снабжали армию, или овсом, крупой, или скотом для убоя, — держались вместе, жестикулировали крупно, то срыву пригибаясь к столику, то вздергивая плечи и откидываясь, как подстреленные; часто дергали друг друга за рукава и тыкали указательными пальцами себя в грудь, посредине между двумя тугими бумажниками в боковых внутренних карманах; часто и азартно чокались, но мало пили. И споря друг с другом, и дергая друг друга, и тыча себя в грудь, не забывали все же шарить глазами по сторонам, поджидая, должно быть, нужных им человечков.

За буфетной стойкой орудовал дородный, важного вида грек, с парализованным, приспущенным веком левого глаза.

— Чего бы мне выпить такого? — стал думать вслух Пирогов, разглядывая батарею бутылок на стойке. — Разве стаканчик киршвассеру?

— Мож-но! — наигранно-радостно отозвался ему грек, и пахнувшая горьким миндалем вишневая наливка забулькала из узкого горлышка бутылки.

И вдруг подобную же бутылку, но более крупную — знакомую по виду

бутылку шампанского Клико — Пирогов заметил неожиданно для себя, оглянувшись на какие-то резкие крики в другом конце залы, близко к двери; бутылка эта взвилась высоко в чьей-то руке, державшей ее за горлышко, и из нее тоже лилось, но не в стакан, а на голову и плечи того, кто ее держал в опрокинутом виде. И тут же ей навстречу выскочила кверху другая такая же бутылка, из которой тоже лилось, но менее заметной струей.

Глотая свою пахучую вишневку и наблюдая в то же время за странным взлетом этих бутылок, Пирогов думал сначала, что это нового типа тосты, явно опасные для костюмов пирующих, но скоро понял, что это пьяный скандал в среде молодых офицеров.

Донеслись оттуда исступленные крики:

- Голову размозжу!
- А я тебе!
- Гос-да! Вы пьяны!
- Вызываю!
- Через платок!
- На саблях! На саблях!

К бутылкам в поднятых руках потянулись другие руки. Бутылки исчезли... В густом табачном дыму, слабо различимая в подробностях, ворочалась человеческая каша. Звенели голоса женщин. Поднялся багровым генерал и кричал начальственно:

- Безо-бразие, господа! Уймите буянов!

Кого-то тащили в дверь, которая для этого была открыта настежь, и через нее сюда сверху ворвалось оглушительное:

Там, где тинный Булак
Со-о Казанкой-рекой,
Словно братец с сестрой
Обни-ма-а-ается,

Там Варламий святой
Золотой головой
Средь горелых домов
Воз-вы-ша-а-ается...

— Та-ак! Песня казанских студентов! — сказал Пирогов, взял первый попавшийся бутерброд с какою-то тощей рыбкой, расплатился и пошел к выходу. Закутивший иеромонах гремел неистово:

От зари до зари,
Лишь за-жгут фонари,
Верени-и-ицей студенты
Шата-а-аются...

Он и сам бы не прочь
Прокутить с ними ночь,
Да на ста-арости лет
Не реша-а-ается...

Старый швейцар в вестибюле суетился, стараясь водворить порядок на своей территории. Крики: «Через платок!.. На саблях!..» — были уже хриплы и слабы, а бас певца лился вниз удушающим потоком:

Но-о соблазн был велик,
И-и решился старик.
Оглянув-шись кругом,
Он спуска-а-ается.

И всю ночь напролет
Он и пьет, и поет,
И еще кое-чем
За-ни-ма-а-ается...

А наутро домой
Со боль-ной головой
Варла-а-ампий святой
Возвраща-а-ается!

Пьяный скандал не произвел особого впечатления на Пирогова. Он

был доволен только тем, что бутылки шампанского не были пущены в дело и не разможили ничьего черепа, так как, будь это, ему пришлось бы, конечно, применять тут свои познания и опыт хирурга и задержаться на неопределенное время.

Гораздо больше поражен он был силой голоса певца-монаха, его умением петь и его светским и даже запрещенным репертуаром. И он, снова усаживаясь в свой тарантас, чтобы ехать теперь прямо к сестрам, которые имели, как он полагал, возможность устроить его на два-три дня в отведенной им квартире, жалел, что не узнал даже имени монаха.

Однако случилось так, что он увидел его самого в неожиданно раскрывшемся окне на втором этаже гостиницы. Сомневаться в том, что это он, было невозможно, — такую густейшей октавой он кашлянул, собственноручно открывая окно, такая львиная оказалась у него голова и такие широкие плечи.

С минуту любовался им Пирогов, пока он стоял у окна, и восхищенно сказал, когда он отошел:

— Ого! Да это целый Пересвет-богатырь или Ослябя!.. {58}

Пирогов был впечатлительной натурой, — певец очень взбудрил его... Но когда он добрался, наконец, до дома, в котором отведена была квартира Стахович и нескольким другим сестрам, он узнал, что две сестры — Савельева и Аленева — уже заболели «пятнистой горячкой» и мечутся в сильном жару, а три другие тоже недомогают и, пожалуй, слягут не сегодня-завтра; что лазареты здесь ужасны; что местные власти только обещают что-нибудь сделать для них, но ровно ничего не делают; что на него — профессора, генерала и прочее — возложены все надежды и сестер, и раненых, и больных.

V

Но была в Симферополе и еще одна возмущенная, смятенная и измученная женщина, знавшая о том, что должен был приехать Пирогов, и с этим приездом связывавшая кое-какие свои надежды: это была Хлапоница, жившая здесь уже около двух месяцев, превратясь в терпеливую сестру милосердия для своего раненого и контуженного во время октябрьской бомбардировки мужа.

Он выздоравливал, но медленно. Он ходил уже, но неуверенной походкой. Он двигал левой рукой, однако не мог донести ее до лица. Он начал говорить уже довольно связно, но по лицу его она видела, какой это для него труд и как быстро он его утомляет.

Она приглашала к нему всех врачей, каких можно было найти в Симферополе, однако ответы их на ее вопросы были явно уклончивы, а каждый подобный ответ казался ей жестоким до оскорбления.

Когда она узнала о приезде первого отряда сестер и с ними врачей из Петербурга, она, конечно, явилась к ним, скромная, как всегда, но упорно настойчивая, так как дело шло о здоровье мужа, а петербургские врачи — она иначе и не могла думать — были гораздо лучше местных.

Однако и петербургские врачи сказали ей не больше, чем местные. Только один оказался щедрее других на «благополучный исход» сотрясения мозга, но он как раз был наиболее молодой и наиболее воспитанный.

Она не хотела допустить и мысли, чтобы ее Митя не стал снова прежним Митей, с его крепкой волей, широтой его интересов, строгой логикой его мыслей... Поэтому-то она и ждала приезда такой всероссийской знаменитости, как Пирогов.

Наблюдая за постепенным возвращением как бы временно отсутствовавшего интеллекта мужа, она была похожа на мать, которая убеждается каждый день, как все умнеет и умнеет ее ребенок. И об этих своих наблюдениях она говорила каждому из врачей, которых приглашала к мужу, и ее не столько пугало, сколько раздражало их непонимание свойства болезни мужа: там, где она видела неуклонный ход улучшения впереди, пока положение не станет вполне прежним, дооктябрьским, — там они как будто усматривали какой-то тупик, барьер, стену...

Подобный же тупик, между прочим, только чисто денежного свойства, виделся в близком будущем и ей самой: ни у нее лично, ни у мужа не было никаких других средств, кроме жалованья командира батареи.

О том, чтобы жалованье за два последних месяца было переведено мужу в Симферополь, она писала генералу Кирьякову, думая, что

вполне достаточно этого шага, что начальник дивизии, к ним с мужем так расположенный, сделает все, что нужно, для перевода денег.

Однако ответа от него не приходило, хотя прошли уже все сроки, и она не знала, что думать. Но вот он сам вдруг явился в их скромную квартирку. Это случилось всего за день до приезда Пирогова, и тот генерал, которого Пирогов видел в ресторане гостиницы «Европа», был не кто иной, как Кирьяков.

Хлапониная обрадовалась было приходу Кирьякова, думая, что он проявил в отношении их с мужем высшую степень начальственной любезности, — привез лично жалованье, о котором она писала.

Но Кирьяков с первых же слов сказал, что он сделал распоряжение со своей стороны, однако не ручается за успех, так как не только в 17-й артиллерийской бригаде, но и в 17-й пехотной дивизии теперь уже новое начальство «благодаря этому подлому ветеринару Меншикову».

— Мне пришлось передать свою дивизию генералу Веселитскому, — сказал он шумно и злобно, — пусть попробует послужить с этой мумией Веселитский, а я получил назначение в Киев, куда и направляюсь теперь... готовить для Меншикова на убой новую дивизию, резервную.

— Что же, Киев — прекрасный город, — чтобы утешить его, сказала Хлапониная.

— Вы находите?.. Вы знаете Киев, Елизавета Михайловна? — живо спросил ее Кирьяков. — Вы там живали?

— Я однажды провела в Киеве недели две, но это было уже давно...

— «Давно»! Что же такое для вас «давно»? — усмехнулся, любясь ею, Кирьяков, а сам Хлапонин, обыкновенно весьма молчаливый, сказал вдруг, глядя на него сосредоточенно:

— Киев — безопасный город...

Он похудел и стал казаться старше лет на шесть, на семь. Почему-то совсем перестал улыбаться. Пристальными, как у детей, и большими сделались глаза. Голова дергалась вперед, точно он подмигивал собеседнику.

— Да, разумеется, безопасный, — поддержала мужа Хлапониная, — совсем не то, что Севастополь.

— А если австрийцы вздумают наступать на Киев через Подолию? —

усмехнулся Кирьяков.

— Неужели этого кто-нибудь ожидает? — испуганно спросила Хлапоница.

— Все может случиться... при таких главнокомандующих, как Меншиков!

— А что... капитан Ергомышев... он жив? — вдруг спросил Хлапонин.

— Капитан Ергомышев? — несколько удивился этому вопросу Кирьяков. — Он ведь был очень контужен тогда, при взрыве третьего бастиона... Нет, он жив-то жив, только останется, мне так говорили, полным инвалидом.

— Полным инвалидом, — повторил Хлапонин и подмигнул раза три подряд, так что Елизавета Михайловна поспешила перевести разговор снова на Киев.

Кирьяков пришел вечером, перед заходом солнца, но в Крыму сумерки недолги, и когда они сгустились до того, что Елизавета Михайловна хотела уже зажигать свечу, гость поднялся и начал прощаться.

Конечно, он пожелал Хлапонину скорейшего выздоровления, чтобы снова принять свою батарею и быть ее молодцом-командиром по-прежнему; тот в ответ на это несколько раз поклонился очень серьезно с виду, но совершенно безучастно к его словам по существу.

Хлапоница сочла нужным проводить гостя-генерала через темную прихожую к выходной двери, но там он шепнул ей:

— Я хотел бы сказать вам несколько слов, можно?

И она поняла это так, что эти несколько слов относятся к служебному положению ее мужа, о чем неудобно, быть может, было говорить при нем.

Она накинула на голову теплую шаль и вышла из дома во двор. Кирьяков же, взяв ее под руку, провел ее несколько дальше, на улицу, в этой части города нелюдную, и, воровато оглянувшись по сторонам, вдруг сжал обе ее руки в кистях, говоря с неожиданным для нее волнением:

— Елизавета Михайловна! О вас я думаю все последнее время! Только о вас, больше ни о ком и ни о чем не могу думать, поверьте!

Хлапоница сказала:

— Пустите же все-таки мои руки!

Но он продолжал держать их крепко, говоря при этом, если и не совсем уверенно, то, видимо, обдуманно заранее:

— Давайте будем откровенны, будем смотреть на вещи прямо! Дмитрий Дмитрич теперь волею судеб калека! Простите меня за жестокое слово, но что делать, — это, к сожалению, правда... Он не поправится, так же как Ергомышев, — я думаю, вы уже убедились в этом. Приходится примириться с этим — божья воля... Но вопрос, который меня очень больно тревожит: что же вам делать дальше?

— Пустите мои руки! Вы мне их давите! — сказала она, еле сдерживаясь.

— Разве давлю? Простите великодушно!

Он разжал свои пальцы, но придержал ее за концы шали, видя, что она хочет уйти.

— Дорогая моя, я не договорил, останьтесь еще на минуту!.. Что вас ожидает дальше? Конечно, мужу дадут пенсию, но, во-первых, когда еще это будет, а во-вторых, что это будет за пенсия! Ведь вы на нее не в состоянии будете прожить! А между тем я хотел бы вам предложить вот что: поедemте вместе в Киев!

— Что-о? — чрезвычайно удивилась она.

— Да, очень просто, все втроем: я, вы, Дмитрий Дмитрич... Может быть, мне даже удастся устроить его у себя адъютантом.

— Адъютантом? — еще более удивилась Елизавета Михайловна. — Это вы говорите о том времени, когда он совершенно поправится? Или я ничего не понимаю!

— Поправится он едва ли, но ведь это не так важно, поверьте: он будет числиться для того, чтобы получать жалованье, а нести службу будут, конечно, другие...

— Это что-то незаконное, что вы говорите...

— Дорогая моя, у меня достаточно будет власти, чтобы это маленькое беззаконие сделать вполне законным. Наконец, ведь есть просто письменные работы, чисто канцелярские, — их можете вести даже и вы вместо вашего мужа, а Дмитрий Дмитрич будет их только подписывать.

— То есть, другими словами, вы, кажется, хотите, чтобы я была вашим адъютантом? — отшатнулась она.

— Нет-нет! Это я только к слову! — заторопился он. — Никакой надобности не будет вам заниматься дивизионной письменностью! Это тем более очень скучная материя! Я просто хочу сказать вам: поедemте со мной в Киев, а там я берусь устроить вашу с Дмитрием Дмитриевичем жизнь...

— Каким же все-таки образом устроить?

— Ах, боже мой! Зачем же так много говорить об этом?.. Вы знаете ведь, что я — вдовец, одинок, содержание получаю и буду получать большое...

— И поэтому желаете тратить часть его на меня? — перебила она задыхаясь.

— Почему же часть? — не смутился ее восклицанием Кирьяков. — Вы мне очень дороги, и я для вас ничего не пожалею!

— Как вам не стыдно говорить то, что вы мне говорите! — возмущенно выкрикнула Хлапони́на.

Но Кирьяков был не из тех, которые смущаются, что бы им ни говорила женщина.

Он сказал ей:

— Вы меня, кажется, совершенно превратно поняли, Елизавета Михайловна!

— Я не девочка, чтобы вас не понять... Счастливой дороги!

Она повернулась было, чтобы уйти поспешно к себе, но он держал оба конца ее шали.

— Пустите! — крикнула она.

Он оглянулся вправо, влево, — никого не было поблизости.

— Странно, — приблизил он к ней лицо. — Почему же вы не хотите, чтобы я вместе с вами заботился о вашем муже? В Киеве университет, там есть профессора медицины... Вот один из них, Гюббенет, приехал в Севастополь. Благодаря моему положению там, в Киеве, весь медицинский факультет был бы к вашим услугам... Ему доставили бы лучший уход... Например, может быть, ему нужны ванны...

Хлапони́на с силой потянула к себе концы шали, но он продолжал, как бы не замечая этого:

— Наконец, наука, медицина, она, разумеется, идет вперед, она не стоит на месте. Мы могли бы обратиться к лучшим врачам Берлина за

советом, как нам лечить нашего дорогого больного...

Больше вынести Хлапони́на не могла; правая рука ее, высвободившись из-под шали, вздернулась кверху как-то сама собою и наотмашь ударила искусителя по щеке.

От неожиданности Кирьяков выпустил шаль. Мгновенно отпрянув, Хлапони́на бросилась от него бегом к себе.

Когда она вошла в комнату к мужу, там уже горела свечка, зажженная денщиком Арсентием. Освещенные скромным огоньком свечки, навстречу ей поднялись по-детски пристальные, вопросительные глаза Дмитрия Дмитриевича.

У нее очень билось сердце, и, пожалуй, только затем, чтобы его успокоить, чтобы не колотилось оно так, сжимаясь до боли, она крепко обняла мужа, прижалась к нему всею грудью и, не отрываясь и плача, начала целовать его глаза.

— Что ты, Лизанька? Что с тобою? Зачем плачешь? — очень обеспокоился Дмитрий Дмитриевич.

— Пустяки... Ничего... Так... — прошептала она и прижалась к нему еще крепче, как будто боялась, что этот, который остался там, на улице, вернется сюда и оторвет ее от мужа, употребив для этого всю свою власть начальника резервной дивизии.

Глава девятая. Прыжок в тишину

I

Бывает иногда так, что нас поражает в совершенно случайно встреченном человеке какое-то неопределимое, но сильнейшее сходство с другим, очень хорошо нам известным, хотя мы и знаем при этом, что никакого решительно, даже отдаленнейшего родства между ними нет и быть не может.

Это совсем не относится к так называемым типичным лицам для того или иного народа. Конечно, китаец похож на другого китайца, негр на другого негра, калмык на другого калмыка. Нет, иногда, как внезапное озарение, блеснет сходство между людьми, внешне даже далекими друг от друга по типу, — сходство в манере глядеть,

говорить, улыбаться, смеяться, сердиться, делать те или иные жесты. Это явление отмечается больше всего художниками и детьми; однако и врачи, профессия которых заставляет их быть особенно наблюдательными, бывают иногда способны находить у людей сходство там, где поверхностный глаз его не схватывает.

Так Пирогов, когда пришла к нему Хлапоница с убедительной просьбой осмотреть ее контуженного мужа, поражен был каким-то неуловимым сходством между нею и своей молодой женой, оставленной им в Петербурге вместе с двумя маленькими детьми от первой жены, умершей родами.

Он поселился в Симферополе не у сестер, а в гостинице «Золотой якорь», в дрянненьком номере, очищенном для него усилиями полиции. И когда в этом номере появилась Хлапоница, он, хотя и усталый от поездки по лазаретам с несколькими тысячами больных и раненых, все-таки не отказал ей исключительно ввиду этого странного сходства, усмотренного им, хотя жена его была шатенка, Хлапоница же блондинка и гораздо выше ростом, чем его жена.

А так как перед приходом Хлапоницы писал письмо жене о том, что делает в Симферополе, то и в разговоре с Елизаветой Михайловной, пока они ехали, он как бы продолжал писать, или, точнее, диктовать, кому-то это длинное письмо, и от него Хлапоница узнала, что он нашел в лазаретах и в общине сестер и каковы, по его мнению, губернатор Адлерберг и председатель казенной палаты Княжевич.

Когда же доехали, он сказал ей шутливо, оглядев домишко, в котором она жила:

— По сравнению с моим гнусным номером — это целый дворец! Эх, пожить бы в таком хотя бы денька два, да лиха беда — надо в Карасубазар ехать, а оттуда в Феодосию, где, говорят, тоже полторы тысячи больных и раненых...

Очень внимательно осмотрел он Дмитрия Дмитриевича, и Хлапоница заметила, что ее муж, обычно такой апатичный, оживился при виде Пирогова: бодрее держался, складнее отвечал на вопросы... Это ее так изумило, что она сказала Пирогову:

— Вы его на моих глазах лечите уже одним своим видом!

— Ага! Прекрасно! — очень радостно подхватил это ее замечание

Пирогов, даже пальцами щелкнул, потому что сказано это было ею точь-в-точь так, как сказала бы его жена. — В таком случае у меня готов для вашего больного рецепт! Попробуйте-ка увезти его отсюда!

— Увезти? Куда же именно? — удивилась она. — В Киев?

Это вырвалось у нее внезапно, — она даже и сама не знала, как и зачем.

— В Киев? — повторил Пирогов. — Нет, не нужно ни в Киев, ни в какой другой город. Лучше бы всего вам отвезти его куда-нибудь в деревню, где он мог бы видеть и новых для себя людей и где было бы тихо... А здесь и тишины необходимой ему нет и людей новых для себя он не видит, — живет поневоле затворником. Раз вы сами, как мне говорили, работали в госпитале в Севастополе...

— Ну, сколько же я дней там пробыла! — перебила его Хлапониная застыдившись.

— Все равно, сколько именно, но раз вы там работали, мы можем говорить с вами, как коллеги. Самый опасный для вашего мужа первый период прошел благополучно? — Прошел. Ни обмороков, ни рвоты, ни прочих тяжелых явлений не наблюдается... Что же наблюдается? — Расстройство движений, расстройство речи; ну, еще там кое-что менее важное, как головные боли иногда... Может вся эта неприятность исчезнуть из вашего житейского обихода? — Помилуйте, коллега, разумеется, может! Мыслительный процесс нашего больного только замедлен, но он происходит так же, как и у нас с вами. Ведь самое вещество мозга при контузии не пострадало, значит им вполне можно овладеть снова... У вас есть какие-нибудь родственники и где именно?

— У меня есть брат, — он адъюнкт-профессором в Московском университете, — сказала Хлапониная.

— А-а! В Московском! Очень приятно моему сердцу слышать это... Кстати, Московский университет готовится к своему юбилею: двенадцатого января столетие будет праздновать, — сотый Татьянин день! Жаль, что не могу туда попасть на этот день, очень жаль... Но Москва для нашего больного пока не подходит так же, как и Киев. Его бы в деревню. Где ваша родовая вотчина?

— У меня нет никакой вотчины.

— Вот как!.. Вы городская, значит... А у вашего мужа?

Дмитрий Дмитриевич сидел тут же и слушал, что говорил знаменитый хирург, очень внимательно с виду, но Елизавета Михайловна знала, как туго, с каким трудом и запозданием доходило до его сознания то, что говорилось хотя бы и о нем самом; поэтому она ответила за него:

— У моего мужа тоже нет вотчины.

— Значит, вы оба безземельные... Та-ак-с! Ну, может быть, какие-нибудь родственники или даже хорошие знакомые ваши имеют возможность вас приютить на время в деревне, а?

— Деревня... А дядя мой? — вопросительно поглядел на жену Дмитрий Дмитриевич, и она сказала Пирогову:

— У мужа есть дядя, — он помещик, небогатый, из малодушных... Бывший его опекун, — но ведь вы знаете, как часто поступают эти опекуны?

— До того опекают, что дотла сжигают? — с усмешечкой отозвался Пирогов.

— Вот именно так и вышло, что дядя опекал, опекал племянника, и в результате как-то так получилось, что оставил его ни при чем. Когда он вышел из корпуса, оказалось, что все отцовское стало уже дядиным...

— Привыкло к нему! — качнул лысой головой Пирогов. — Но все-таки он как, этот дядя? Вы бы послали ему письмо, а? Может быть, раненого воина-племянника он и принял бы на время, тем более что теперь, зимою, сам-то он, пожалуй, живет где-нибудь в городе, а дом его в деревне все равно пустует... Далеко это отсюда?

— В Курской губернии, в Белгородском уезде...

— А-а! Далеченько!.. Но все-таки, Белгородский уезд ведь это на границе с Харьковской губернией. Так что вам, значит, надо проехать Перекоп, Берислав, Екатеринослав, Харьков — и вот вы попадете в тишину... Снега выше пояса там теперь — хорошо! Бесподобно!.. На четверке цугом или на тройке с колокольчиком по снегам, а? Замечательно! Гораздо лучше, чем тащиться по грязи в Феодосию...

Говоря это с виду шутливо, Пирогов в то же время оценивающе вглядывался в Хлапонины и совершенно неожиданно для Елизаветы Михайловны закончил:

— Ничего! Вынесет! Ручаюсь за то, что хуже ему не будет: довезете его благополучно... Ведь все самое скверное давно уже прошло, — вынесет переезд. Если, конечно, только получите от этого дяди подходящий ответ, — с богом!

Он поднялся и начал прощаться. Елизавета Михайловна благодарно, восторженно глядела на его лоснящуюся мощную плешь во всю почти голову, плешь не меньшую, чем у Кирьякова, но она вспомнила о деньгах своих, приходивших к концу, о жалованье мужа, которого пока не получила, и сказала об этом Пирогову. Тот обещал навести об этом справки, пока он в Симферополе; кроме того, посоветовал ей, куда обратиться, чтобы получить небольшую хотя денежную помощь из отпущенных именно на этот предмет сумм.

Он оставил Хлапонину обрадованной чрезвычайно. Надежды ее оправдались так блестяще, что даже больной муж ее на несколько по крайней мере минут после ухода Пирогова стал уже ей казаться совершенно здоровым, прежним Митей, с которым можно говорить о чем угодно. И она, возбужденно обнимая его, говорила ему о той «бесподобной», «замечательной» поездке к дяде, которая совершенно воскресит его снегами, родными снегами по пояс, тройками, колокольчиками под дугой, старым деревенским домом с антресолями, тишиною, главное — тишиною...

Она ожидала и со стороны мужа подъема, оживления, может быть даже улыбки, как отклика на свою большую радость; однако он отнесся и к рецепту Пирогова так же безучастно, как и ко всем прочим рецептам других врачей, хотя понимал, путешествие к дяде Василью Матвеевичу Хлапонину должно быть очень длинным, значит представил это и, кроме того, сказал задумчиво и с паузами:

— Ухабы... косогоры... раскаты...

Елизавета Михайловна видела, с какими усилиями припоминал он самые обыкновенные слова, но вместе с тем она знала, что эти именно три слова он припомнил только теперь, после визита Пирогова, так что ей казалось, что знаменитый хирург прав, что муж ее за время дороги, поневоле столкнувшись снова с тою жизнью, которой жил до своей ужасной контузии, припомнит и уже не забудет больше все необходимое множество русских понятий, но, с другой стороны, эти

ухабы, косогоры и раскаты, на которых так часто опрокидываются сани, способны были, конечно, вызвать сотрясение мозга и у здоровых людей, а не только вылечить от сотрясения больного.

Ночь она провела почти без сна, — так много нахлынуло новых и неразрешимых вопросов. Прежде всего, конечно, и уехать им из Симферополя было нельзя, пока Дмитрий Дмитриевич не получит от своего начальства отпуск на продолжительное лечение вдали от своей батареи; затем совершенно неизвестно было, примет ли их Хлапонин-дядя; нужно было послать ему эстафету, а не письмо, и просить его ответить тоже эстафетой; наконец, представлялись разные другие возможности — усадьбы других помещиков поближе к Крыму или тишайшие захолустные уездные города, утопающие в снежных сугробах, в степях Новороссии...

Представлялось вдруг, что вот в российской снежной пустыне вследствие какого-нибудь неприятного происшествия придется им идти пешком до ближайшей деревни, немного, версты три-четыре, а Дмитрий Дмитриевич и по комнате плохо ходит, волочит правую ногу, — как же будет он идти по снегу, в тяжелой шубе и так далеко — три-четыре версты?

II

К утру от радости, принесенной Пироговым, не осталось почти ничего. Денщик Арсентий был старый солдат, удивлявший Хлапонину тем, что мог делать по хозяйству решительно все что угодно, так что казалось ей — оставь его на необитаемом острове, он и там сейчас же проявит свою домовитость и укладливость и устроится в лучшем виде. С ним она привыкла советоваться по всем вопросам хозяйства, вполне признавая его авторитет; ему же утром она рассказала и о поездке, которую прописал ее мужу Пирогов, прибавив, конечно, что Пирогов считается на всю Россию один, что нет более знаменитого врача, чем он.

Арсентий, человек приземистый, плотный, широкоплечий, с сединою в бурых усах, выслушал ее довольно угрюмо и, когда она кончила, спросил неожиданно:

— А голову к тулову он, барыня, Пирогов этот, пришить может?

— Голову к тулову? — переспросила она, не поняв. — Какую голову?

— Оторвавшую снарядом, — как это мне видать приходилось... Вот где тулово лежит, а голова напрочь, и шагов на десять она отлетела... Она всем целая, смотреться, голова эта, и даже глаза на тебя глядят, аж страшно, — и вот бы, думаешь, если бы пришить ее на место, с какого ее оторвало!

— Я тебя о деле спрашиваю, а ты мне какую-то чепуху несешь, — поморщилась Елизавета Михайловна.

— Да ведь и я, барыня, о деле, — не смутился Арсентий. — Хотя бы он и Пирогов, а ведь голову до туловища не пришьет, — не бог, одним словом... Уехать отсюда — это, конечно, все можно сделать, воля ваша, а как обернется потом, кто ж его знает... Говорится: «Жениться-то шутя, да кабы не взять шута...» — так и это.

Елизавета Михайловна должна была согласиться про себя, что и сама она думает то же.

Все свои сомнения насчет дальнейшей поездки выложила она в этот же день Пирогову, придя к нему опять в «Золотой якорь», и на все сомнения эти он отозвался широкой улыбкой:

— Всякое почти лекарство, какое мы, врачи, прописываем больным, ядовито, коллега! Дело только в дозе и ни в чем другом... Если вы обыкновенной, полезнейшей поваренной соли съедите сразу целый фунт; вы отравитесь и умрете, да, да, не удивляйтесь, пожалуйста! Чем гомеопатия отличается от аллопатии? Только дозой лекарства, а лекарства ведь одни и те же. Но в конце концов я не аллопат и не гомеопат, а хирург. Мои действия решительны, а вынуждает меня к ним явная необходимость. Явная, — понимаете, коллега? Так я поступил и в вашем случае: мне этот выход — этакий, знаете ли, прыжок в тишину — кажется спасительным для вашего мужа, несмотря даже и на то, что дорога к тишине идет через буераки, овраги, ухабы, гм, татарские все слова, как будто до татар на Руси никаких ям на дорогах и не бывало!.. Да, так вот, несмотря даже и на то, что от всех этих прелестей и здоровый человек сотрясение мозга может получить, как совершенно правильно изволили вы заметить, коллега... Далеченько, разумеется, ехать в Курскую губернию из Симферополя, но что же, если нет ничего подходящего ближе? Впрочем, с одной

стороны, может быть, если хорошенько поищите, найдете какое-нибудь тихое пристанище и гораздо ближе, а с другой — ведь никто не понуждает вас скакать по-фельдъегерски, да едва ли у вас и будет такая возможность. Наконец, везде, где будет удобно или необходимо, можете ведь вы остановиться, чтобы дать вашему больному отдохнуть от дороги... Что же касается медицинского свидетельства, что вашему мужу требуется трехмесячный отпуск для восстановления своего здоровья, то я вам сейчас же состряпаю.

— И вы полагаете, что через три месяца муж может выздороветь? — ошеломленная радостью, едва выговорила Елизавета Михайловна.

— Имею смелость быть в этом уверенным, — весело ответил ей Пирогов, и после этого ответа полнейшими пустяками показались ей все ночные сомнения и страхи, и здесь, в дрянненьком номере гостиницы, где писалось Пироговым размашистым почерком на четвертушке шершавой бумаги медицинское свидетельство, была окончательно решена ее поездка на север, в снега по пояс.

III

Елизавета Михайловна помнила тот свой ужас, когда она в первый раз увидела раненого и контуженного мужа и его открытые, но совершенно незрячие, страшные глаза, вроде тех глаз, которые видел Арсентий у голов, оторванных осколками снарядов, точно отрезанных мгновенно ударом лезвия на гильотине.

Полное беспмятство мужа, во время которого даже приставленная к самым глазам его свечка не заставляла их мигать, тянулось долго, и никто из врачей тогда не решался ее обнадеживать.

Но вот она вырвала его из рук явной смерти, которая ждала его, будь он в госпитале рядом с другими ранеными. Благодаря ее неусыпному уходу он вернулся к тому состоянию, в каком находился теперь, и потому стал ей несравненно дороже, чем раньше, как дорого мастеру создание своего искусства, как дорог матери ребенок.

И теперь она, конечно, боялась риска потерять его совсем, и если бы посоветовал ей путешествие с ним на север кто-нибудь другой из врачей, она, недолго думая, сочла бы подобный совет непростительным легкомыслием. Но Пирогову она верила вопреки

своему рассудку. И верила не столько потому даже, что он был знаменитый хирург, нет: он заразил ее своею верой в то, что Дмитрий Дмитриевич через три месяца будет совершенно здоров, если только уедет в деревенскую тишину.

Эта тишина родных полей, в которых было проведено раннее детство мужа, начала представляться Елизавете Михайловне в каких-то смутных, расплывчатых образах, неясных, туманных, но обаятельных необычайно и, главное, целебных, все исцеляющих...

Сама она родилась в Курске, где отец ее был чиновником казенной палаты, но белгородские поля и курские поля — не одни ли и те же поля? Его родина была и ее родиной, — и никакие другие поля не имели этой таинственной, но могучей силы исцелять, воскрешать, так ей казалось.

Но вопрос, как именно добраться до этих полей, казался ей почти неразрешимым. Эстафету дяде мужа она отправила, но ведь эстафета должна была застать его в деревне, чтобы он ответил без промедления ей тоже эстафетой; однако, если даже допустить такую счастливую случайность, все-таки как преодолеть этот дальний путь, на чем ехать?

С этим головоломным вопросом обратилась она снова к Пирогову уже перед самым его отъездом в Карасубазар.

— Почтовые лошади все заняты для разъездов по казенным надобностям, — говорила она. — Обывательские подводы очень трудно найти... Не на волах же везти больного несколько сот верст!

— Не на волах, верно! — весело ответил ей Пирогов. — Но вам благоприятствует сама Фортуна в лице винного откупщика Кокорева, хотя вы его, может быть, и не знаете. Миллионером стал из костромских мещан, старообрядец поморского толка, — самородок, а? В большой дружбе был с министром финансов Вронченко... Ну, так вот, без лишних слов, этот самый Кокорев снарядил на свой счет обоз из Москвы в Севастополь — ни мало ни много, как сто троек со всякой всячиной: сахар, крупа, рис и прочая бакалея. Сто саней, а? Размах у этого костромича! Так вот я только что услышал, что первая партия — двадцать пять саней — уже скачет сюда, — к середине декабря доскачет. А все остальные к рождеству должны быть в Севастополе...

Но вот обратно-то они поедут, эти тройки, порожняком, вы думаете? Нет-с, они повезут из Крыма раненых на север, сколько могут забрать. Вот вы, коллега, и сделайте свою заявочку на первую же тройку, какая появится в Симферополе через неделю, я думаю, самое большое — и дело будет в шляпе-с!

Кокоревские тройки действительно решали вопрос с путешествием как нельзя лучше. Они явились для Елизаветы Михайловны подлинным подарком Фортуны. Благодаря Пирогова за все, что он сделал для нее с мужем, она вся светилась от радости. Прощаясь, он расцеловал ей руки, она же прикоснулась губами к его внушительной плечи и почувствовала резкий запах спирта: великий хирург имел обыкновение ежедневно натираться спиртом от насекомых, причем убедился на грустном опыте, что блохи игнорируют это сильное средство.

Кокоревские тройки появились в Симферополе перед серединой декабря и по снежному первопутку помчались дальше, в Севастополь. К этому времени, хлопоча без отдыха, Елизавета Михайловна выправила уже бумажку, дающую право на трехмесячный отпуск для поправления здоровья ее мужу, и даже получила жалованье его, а при участии важной дамы в очках — Александры Петровны Стахович — обеспечено было и ей, и ее больному, и Арсентию место в первых обратных кокоревских санях.

Но самое главное, успела прийти эстафета от Хлапонина-дяди, окончательно уничтожившая последние сомнения. Вышло так, что эстафета, посланная наудачу Елизаветой Михайловной, сказочно счастливо достигла своей цели: адресат оказался дома и отвечал, что «будет рад приютить севастопольского страдальца», просил известить, когда выслать за ними лошадей на станцию.

Эта весточка от дяди, которого давно уже не видел Дмитрий Дмитриевич, заметно оживила его: он держался бодрее, и все, что касалось отъезда, видимо, его занимало, вплоть до дюжих косматых кокоревских коней, со строгими глазами, подвязанными хвостами и затейливыми бубенчиками на упряжи.

Арсентий деловито, как это было ему свойственно, хлопотал, чтобы мягче и удобнее, то есть поглубже, было сидеть больному, и Елизавета

Михайловна окончательно поверила в удачу и силу пироговского рецепта.

Расцеловалась с хозяйкой домика — простою мещанкой, которая всплакнула при этом, уселась, тщательно укутав ноги мужу и себе; забрал вожжи в рукавицы густобородый ямщик, гикнул, и кони двинулись с места рысью.

Так начался этот «прыжок в тишину», в гробовую тишину и крепостную темь необъятнейшей российской деревни.

1937 г.